Искренне ваш Шурик

Автор:
Людмила Улицкая

Искренне ваш Шурик

Людмила Евгеньевна Улицкая

Герой романа «Искренне ваш Шурик» – яркий персонаж в галерее портретов Людмилы Улицкой. Здесь, по словам автора, «локальная проблема взаимоотношений сына и матери, подчинение человека чувству долга и связанные с этим потери. Оттенки любви – эгоистической материнской, бескорыстной сыновней, своего рода инцест на духовном уровне, а также чувства и переживания разнообразных женщин – одиноких, несчастных, легкомысленных, часто агрессивных к герою, который полон доброжелательности и самых лучших намерений, но никого не может сделать счастливыми. И даже напротив».

Людмила Улицкая

Искренне ваш Шурик

С благодарностью Наташе Червинской – читателю, советчику, врачу

1

Отец ребёнка, Александр Сигизмундович Левандовский, с демонической и несколько уценённой внешностью, с гнутым носом и крутыми кудрями, которые он, смирившись, после пятидесяти перестал красить, с раннего возраста обещал

стать музыкальным гением. С восьми лет, как юного Моцарта, его возили с концертами, но годам к шестнадцати всё застопорилось, словно погасла где-то на небесах звезда его успеха, и молодые пианисты хороших, но обыкновенных способностей стали обходить его, и он, окончив с отличием Киевскую консерваторию, постепенно превратился в аккомпаниатора. Аккомпаниатор он был чуткий, точный, можно сказать, уникальный, выступал с первоклассными скрипачами и виолончелистами, которые за него несколько даже боролись. Но строка его была вторая. В лучшем случае писали на афишке «партия фортепиано», в худшем – две буквы «ак». Это самое «ак.» и составляло несчастье его жизни, всегдашнее жало в печень. Кажется, по воззрениям древних, именно печень более всего страдала от зависти. В эти гиппократовские глупости, разумеется, никто не верил, но печень Александра Сигизмундовича и в самом деле была подвержена приступам. Он держался диеты и время от времени желтел, болел и страшно мучился.

Познакомились они с Верочкой Корн в лучший год её жизни. Она только что поступила в Таировскую студию, ещё не приобрела репутации самой слабенькой студийки, наслаждалась интересными разнообразными занятиями и мечтала о великой роли. Это были предзакатные годы Камерного театра. Главный театровед страны ещё не высказал своего священного мнения о театре, назвав его «действительно буржуазным», – это он сделает несколько лет спустя, ещё царил а Алиса Коонен, а Таиров и впрямь позволял себе такие «действительно буржуазные» шалости, как постановку «Египетских ночей».

В театре по традиции справляли старый Новый – тридцать пятый – год, и среди множества затей, которыми забавляли себя изобретательные актёры в ту длинную ночь, был конкурс на лучшую ножку. Актрисы удалились за занавес, и каждая, приподняв его край, целомудренно выставила на обозрение бесфамильную ногу от колена до кончиков пальцев.

Восемнадцатилетняя Верочка повернула лодыжку таким образом, чтобы аккуратная штопка на пятке была незаметна и чуть не упала в обморок от сладких шипучих чувств, когда её властно вытащили из-за занавеса и надели на неё передник, на котором большими серебряными буквами было написано «У меня самая прелестная ножка в мире». К тому же был вручен картонный башмачок, изготовленный в театральных мастерских и наполненный шоколадными конфетами. Всё это, включая и окаменевшие конфеты, долго ещё хранилось в нижнем ящике секретера её матери Елизаветы Ивановны, оказавшейся неожиданно чувствительной к успеху дочери в области, лежащей,

по её представлениям, за гранью пристойного.

Александра Сигизмундовича, приехавшего из Питера на гастроли, пригласил на праздник сам Таиров. Аристократический гость весь вечер не отходил от Верочки и произвёл на неё глубочайшее впечатление, а под утро, когда бал закончился, собственноручно надел на премированную ножку белый фетровый ботик, смелую вариацию на тему русского валенка, но на высоком каблуке, и провожал её домой, в Камергерский переулок. Было ещё темно, медленно падал бутафорский снег, театральным жёлтым светом горели фонари, и она чувствовала себя премьершей на огромной сценической площадке. Одной рукой она прижимала к себе завёрнутые в газету нарядные туфли тридцать четвёртого размера, другая её рука блаженно лежала на его рукаве, а он читал ей вышедшие из моды стихи опального поэта.

В тот же день он уехал в свой Ленинград, оставив её в полнейшем смятении. Обещал вскоре приехать. Но проходила неделя за неделей, от сердечного многоожидания остался у Верочки один только горький осадок.

Профессиональные успехи Верочки были невелики, к тому же балетмейстерша, учившая их современному движению в духе Айседоры Дункан, крепко её невзлюбила, называла её теперь не иначе как «прелестная ножка» и не спускала ни малейшего промаха. Бедная Вера вытирала слёзы краем древнегреческого хитона из ивановского ситца и не попадала в такт скрябинской экстатической музыки, под которую студийки упражнялись, выкидывая энергично кулачки и колени, дабы перевести неуловимую душу бунтующей музыки в зримые образы.

В один из самых дурных дней той весны у служебного входа встретил Веру Александр Сигизмундович. Он приехал в Москву на две недели, для записи нескольких концертов выдающегося скрипача, всемирной знаменитости. В некотором смысле это был звёздный час его жизни: скрипач был старомодного воспитания, относился к Александру Сигизмундовичу с подчёркнутым уважением и, как оказалось, помнил о его детской славе. Запись шла великолепно. Впервые за долгие годы страдающее самолюбие пианиста отдыхало, расслабившись и расправившись. Прелестная девушка с серо-голубыми муаровыми глазами трепетала от одного его присутствия – одно вдохновение питалось от другого…

Что же касается юной Верочки, весь учебный год старательно изучавшей таировские «эмоционально-насыщенные формы», в ту весну она раз и навсегда

утратила ощущение границы между жизнью и театром, «четвёртая стена» рухнула и отныне она играла спектакль своей собственной жизни. В соответствии с идеями глубокочтимого учителя, требующего от своих актёров универсальности – от мистерии до оперетки, – как сам он говорил, Верочка в ту весну разыгрывала перед умилённым Александром Сигизмундовичем амплуа «инженю драматик».

Благодаря совместным усилиям природы и искусства роман был восхитительным – с ночными прогулками, интимными ужинами в маленьких кабинетах самых известных ресторанов, розами, шампанским, острыми ласками, доставлявшими обоим наслаждение, может быть, большее, чем то, которое они пережили в последнюю московскую ночь, перед отъездом Александра Сигизмундовича, в час полной капитуляции Верочки перед превосходящими силами противника.

Счастливый победитель уехал, оставив Верочку в сладком тумане свежих воспоминаний, из которых постепенно стала проступать истинная картина её будущего. Он успел поведать ей, как несчастлива его семейная жизнь: психически больная жена, маленькая дочка с родовой травмой, властная тёща с фельдфебельским нравом. Никогда, никогда он не сможет оставить эту семью… Верочка замирала от восторга: как он благороден! И свою собственную жизнь ей хотелось немедленно принести ему в жертву. Пусть будут длинные разлуки и короткие встречи, пусть лишь какая-то доля его чувств, его времени, его личности принадлежит ей – та, которую он сам пожелает ей посвятить.

Но это была уже другая роль – не преобразившейся Золушки, цокающей стеклянными каблуками по ночной мостовой при свете декоративных фонарей, а тайной любовницы, стоящей в глубокой тени. Поначалу ей казалось, что она готова держать эту роль до конца жизни, своей или его: несколько долгожданных свиданий в год, глухие провалы между ними и однообразные тоскливые письма. Так тянулось три года, – в Вериной жизни стал проступать привкус скучного женского несчастья.

Актёрская карьера, толком не успев начаться, закончилась, – ей предложили уйти. Она вышла из труппы, но осталась работать в театре секретарём.

Тогда же, в тридцать восьмом, она сделала первую попытку освободиться от изнурительной любовной связи. Александр Сигизмундович смиренно принял её волю и, поцеловав ей руку, удалился в свой Ленинград. Но Верочка не выдержала и двух месяцев, сама же вызвала его и всё началось заново.

Она похудела и, по мнению подруг, подурнела. Появились первые признаки болезни, ещё не опознанной: глаза блестели металлическим блеском, порой комок застревал в горле, нервы пришли в расстройство, и даже Елизавета Ивановна стала слегка побаиваться Верочкиных домашних истерик.

Прошло ещё три года. Отчасти под давлением Елизаветы Ивановны, отчасти из желания поменять свою, как теперь она оценивала, неудавшуюся жизнь, она снова порвала с Александром Сигизмундовичем. Он тоже был измучен этим трудным романом, но первым не решился бы на разрыв: он любил Верочку очень глубокой и даже возвышенной любовью – всякий раз, когда приезжал в Москву. Своей страстной и аффектированной влюблённостью она питала его несчастное и больное самолюбие. На этот раз расставание как будто удалось: начавшаяся война надолго их разлучила.

К этому времени Верочка уже лишилась своей незавидной секретарской должности, обучилась скромному бухгалтерскому ремеслу, но бегала на репетиции, втайне примеряла на себя некоторые роли, особенно по душе ей была роль мадам Бовари. Ах, если бы не Алиса Коонен! Тогда казалось, что всё ещё может повернуться вспять, и она ещё выйдет на сцену в барежевом платье, отделанном тремя букетами роз-помпон с зеленью и пройдётся в кадрили с безымянным виконтом в имении Вобьесар… Это была такая зараза, о которой знают только переболевшие. Вера пыталась, не покидая театра, освободиться от театральной зависимости, даже завела поклонника, что называется, «из публики», исключительно положительного и столь же безмозглого еврея-снабженца. Он сделал ей предложение. Она, прорыдав всю ночь, отказала ему, гордо объявив, что любит другого. То ли был в Вере какой-то изъян, то ли полное непопадание в образы времени, но её хрупкая нежность, внутренняя готовность немедленно прийти в восторг и душевная субтильность, которая была в моде в чеховские, скажем, времена, совершенно никого не прельщали в героическом периоде войны и послевоенного завершения социалистического строительства… Что ж, никого так никого… Но не снабженец же…

Потом была эвакуация в Ташкент. Елизавета Ивановна, доцент Педагогического института, настояла, чтобы дочь уволилась из театра и поехала с ней.

Александр Сигизмундович попал в эвакуацию в Куйбышев, несчастная его семья выехать не успела и погибла в блокаду. В Куйбышеве он жестоко болел, три воспаления лёгких подряд едва не свели его в могилу, но его выходила

медсестра, крепкая татарка из местных. На ней он и женился из одиночества и слабости.

Когда после войны Верочка и Александр Сигизмундович встретились, всё снова началось, но в слегка изменившихся декорациях. Работала она теперь в театре Драмы, куда устроилась бухгалтером. Любила теперь вместо Алисы Коонен Марию Ивановну Бабанову ходила на её спектакли, они даже улыбались друг другу в коридорах. Александр Сигизмундович снова встречал её у служебного входа, и они шли по Тверскому бульвару в Камергерский переулок. Он опять был несчастлив в браке, опять у него была болезненная дочка. Он постарел, утоньшился, был ещё более влюблён и ещё более трагичен. Роман всплеснул с новой океанической силой, любовные волны выносили их на недосягаемые высоты и стряхивали в глухие пучины. Может быть, это и было то самое, чего желала Верочкина неутолённая душа. В те годы ей часто снился один и тот же сон: посреди какого-то совершенно бытового действия, например, чаепития с мамой за их овальным столиком, она вдруг обнаруживала, что в комнате нет одной стены, а вместо неё темнота уходящего в бесконечность зрительного зала, полного безмолвными и совершенно неподвижными зрителями…

Как и прежде, он приезжал в Москву три-четыре раза в год, останавливался обыкновенно в гостинице «Москва», и Верочка бегала к нему на свидания. Она смирилась со своей судьбой, и только поздняя беременность изменила течение её жизни.

Роман её длился долго, как она и напророчила себе в юности – «до самой смерти»…

2

Ходила Вера, как с девочками ходят: животик яблоком, а не грушей, лицо мягко расплылось, зернистый коричневый пигмент проклюнулся возле глаз, и двигался в животе ребёнок плавно, без грубостей. Ждали, конечно, девочку. Елизавета Ивановна, чуждая всяким суевериям, готовилась к рождению внучки заранее, и, хотя специально она не держалась розовой гаммы, как-то случайно подобралось всё детское приданое розовым: распашонки, пелёнки, даже шерстяная кофточка.

Ребёнок этот был внебрачным, Вера немолода, тридцать восемь лет. Но эти обстоятельства никак не мешали Елизавете Ивановне радоваться предстоящему событию. У неё самой брак был поздний, родила она единственную дочь уже к тридцати, и вдовой осталась с тремя детьми на руках: с семимесячной Верочкой и двумя падчерицами-подростками. Выжила сама, вырастила девочек. Впрочем, старшая падчерица уехала из России в двадцать четвёртом году и уж больше не вернулась. Младшая падчерица, всем сердцем повернувшаяся к новой власти, отношения с Елизаветой Ивановной прекратила, как с человеком старорежимным и отстало-опасным, вышла за советского начальника средней руки и погибла в предвоенные годы в сталинских лагерях.

Весь жизненный опыт Елизаветы Ивановны склонял её к терпимости и мужеству, и маленькую новую девочку, нежданное прибавление в семье, она ждала с хорошим сердцем. Дочь-семья, дочь-подруга, помощница – на этом стояла и её собственная жизнь.

Когда вместо ожидаемой девочки родился мальчик, обе они, и мать, и бабушка растерялись: нарушены были их заветные планы, не состоялся семейный портрет, который они в мыслях заказали: Елизавета Ивановна на фоне их чудесной голландской печки стоит, Верочка сидит таким образом, что руки матери лежат у неё на плечах, а на коленях у Верочки чудесная кудрявая девочка. Детская загадка: две матери, две дочери и бабушка со внучкой…

Личико ребёнка Вера разглядела хорошенько ещё в роддоме, а развернула его впервые уже дома и была неприятно поражена огромной по сравнению с крошечными ступнями ярко-красной мошонкой и немедленно воспрянувшей очень неделикатной фитюлькой. В тот миг, пока она взирала с растерянностью на этот всем известный феномен, лицо её оросилось тёплой струёй.

– Ишь какой проказник, – усмехнулась бабушка и пощупала пелёнку, которая осталась совершенно сухой, – Ну, Веруся, этот всегда из воды сухим выйдет…

Младенец играл лицом, какие-то разрозненные выражения сменяли друг друга: лобик хмарился, губы улыбались. Он не плакал, и было непонятно, хорошо ему или плохо. Скорее всего, ему было всё происходящее удивительно…

– Дед, вылитый дед. Будет настоящим мужчиной, красивым, крупным, – удовлетворённо заключила Елизавета Ивановна.

– Некоторые части тела даже слишком, – многозначительно заметила Верочка. – Точь-в-точь как у отца…

Елизавета Ивановна сделала пренебрежительный жест:

– Нет, Веруся, ты не знаешь… Это вообще особенность мужчин Корн.

На этом они полностью исчерпали свой личный опыт в этом вопросе и перешли к следующему:

как им, двум слабым женщинам, вырастить настоящего сильного мужчину. По многим причинам, семейным и сентиментальным, он обречён был носить имя Александр.

С первого же дня обязанности поделили таким образом, что на долю Верочки приходилось кормление грудью, а всё остальное взяла на себя Елизавета Ивановна.

Спорт, мужские развлечения и никакого сюсюканья – определила Елизавета Ивановна первоочередные задачи. И действительно, с того дня, как зажила пуповина, она стала занимать внука физкультурой: пригласила массажистку и начала ежедневное обливание мальчика прохладной, но кипячёной водой. Чтобы обеспечить достойные мужские развлечения, она заранее обзавелась в «Детском мире» деревянным ружьём, солдатиками и лошадкой на колесиках. С помощью этих незамысловатых предметов Елизавета Ивановна намеревалась оградить мальчика от горечи безотцовщины, истинные размеры которой должны были определиться спустя короткое время, и воспитать его истинным мужчиной – ответственным, способным принимать самостоятельные решения, уверенным в себе, то есть таким, каким был её покойный муж.

– Ты должна осваивать принцип максимального расстояния, – сильно забегая вперед, поучала она дочь в первые же дни после выхода из роддома, и в голосе её прорезывались педагогические ноты. – Когда ребёнок подрастёт, выпустит, наконец, твою руку и сделает первый шаг в сторону, ты должна будешь совершить свой шаг в противоположном направлении. Это ужасная опасность для всех матерей-одиночек, – безжалостно уточняла Елизавета Ивановна, – соединять себя и ребёнка в один организм.

– Почему ты так говоришь, мамочка, – с обидой возражала Вера, – у ребёнка, в конце концов, есть отец и он будет принимать участие в его воспитании…

– Проку от него будет как от козла молока. Можешь мне поверить, – припечатала Елизавета Ивановна.

Это было тем более обидно для Верочки, что было уже всё договорено и решено – через несколько дней должен был приехать счастливый отец, чтобы наконец объединиться с возлюбленной. В этом самом месте как раз и находилась единственная точка расхождения между обожающими друг друга матерью и дочерью: Елизавета Ивановна презирала Верочкиного любовника, многие годы надеялась, что дочь встретит человека более достойного, чем этот нервный и неудачливый артист. Но также, по опыту своей жизни, Елизавета Ивановна хорошо знала, как трудно быть женщине одной, а особенно такой, как её дочь Верочка, – художественной натуре, не приспособленной к теперешней мужской грубости. Да ладно уж, пусть хоть кто-то… И она буркнула не совсем кстати:

– А, какая барыня ни будь, всё равно её е… ть…

Она обожала пословицы и поговорки и знала их множество, даже и латинские. Будучи исключительна строга в русской речи, она использовала иногда совершенно неприличные выражения, если они были освящены фразеологическим словарём…

– Ну, знаешь ли, мама… – изумилась Вера, – ты уж слишком…

Елизавета Ивановна спохватилась:

– Ну, прости, прости, уж меньше всего хотела тебя обидеть.

Однако, несмотря на материнскую грубость, Вера как будто оправдывалась:

– Мамочка, ты же знаешь, он на гастролях…

Видя огорчённое лицо дочери, Елизавета Ивановна дала задний ход:

– Да Бог с ним совсем, Верочка… Мы и сами своего мальчика вырастим.

Напророчила… Погиб Александр Сигизмундович через полтора месяца после рождения Шурика. Он попал под машину на улице Восстания, возле Московского вокзала, вернувшись в Ленинград после первого знакомства с новорождённым сыном. Престарелый отец был полон окончательной решимости объявить наконец своей богатырской Соне, что уходит от неё, оставляет ей с дочкой ленинградскую квартиру и переезжает в Москву. Первые два пункта в точности исполнились. Только вот переехать не успел…

Вера узнала о смерти Александра Сигизмундовича через неделю после похорон. Встревоженная отсутствием известий, она позвонила другу Александра Сигизмундовича, поверенному их отношений, не застала его, так как тот был в отъезде. Скрепившись, она позвонила на квартиру Александру Сигизмундовичу Соня сообщила о его смерти.

Молодая мать, из разряда «старых первородок», как называли её в роддоме, старая любовница, – к тому времени набежало двадцать лет их отношениям, – она стала свежей вдовой, так и не успев выйти замуж.

Черноволосый мальчик совал в рот сжатый кулачок, энергично сосал, кряхтел, пачкал пелёнки и находился в состоянии беспечного удовлетворения. Ему и дела не было до материнского горя. Вместо пропавшего материнского голубоватого молока ему давали теперь из бутылочки разведённое и подслащённое коровье, и оно отлично у него шло.

3

На семейную легенду к середине двадцатого века пошла вдруг повальная мода, имеющая множество разнообразных причин, главной из которых, вероятно, было подспудное желание заполнить образовавшуюся за спиной пустоту.

Социологи, психологи и историки со временем исследуют все побудительные причины, толкнувшие одновременно множество людей на генеалогические изыскания. Не всем удалось докопаться до дворянских предков, однако и всяческие курьёзы вроде бабушки – первого врача Чувашии, менонита из голландских немцев или, похлеще, экзекутора при пыточной палате петровских

времён тоже имели свою семейно-историческую ценность.

Шурику не понадобилось никаких усилий воображения – его фамильная легенда была убедительно документирована несколькими газетными вырезками шестнадцатого года, восхитительным свитком толстой, а вовсе не тонкой, как воображают несведущие люди, японской бумаги и наклеенной на волокнистый бледно-серый картон недостижимого и по сей день качества фотографии, на которой его дед, Александр Николаевич Корн, громоздкий, с большим твёрдым подбородком, упирающимся в высокий ворот парадной сорочки, изображён рядом с принцем Котохито Канин, двоюродным братом микадо, совершившим длительное путешествие из Токио в Петербург, большую часть пути по Транссибирской магистрали. Александр Николаевич, технический директор железнодорожного ведомства, человек европейского образования и безукоризненного воспитания, был начальником этого специального поезда.

Фотография сделана двадцать девятого сентября 1916 года в фотоателье господина Иоганссона на Невском проспекте, о чем свидетельствовала синяя художественная надпись на обороте. Сам принц, к сожалению, выглядел кое-как: ни японского наряда, ни самурайского меча. Ординарная европейская одежда, круглое узкоглазое лицо, короткие ноги – похож на любого китайца из прачечной, какие в ту пору уже завелись в Петербурге. Впрочем, от прачечного китайца, заряженного несмываемой до смерти улыбкой, его отличало выражение непроницаемого высокомерия, ничуть не смягчённое ровной растяжкой губ.

Изустная часть легенды содержала дедушкины воспоминания в бабушкиных пересказах: о длинных чаепитиях в пульмановском спецвагоне на фоне многодневной тайги, переливающейся за окнами ясными осенними красками лиственных и мрачно-зелёных хвойных.

Покойный дед высоко оценивал японского принца, получившего образование в Сорбонне, умницу и свободомыслящего сноба. Свободомыслие его выражалось в первую очередь именно в том, что он позволил себе невозможную для японского аристократа вольность личного и даже доверительного общения с господином Корном, который был, в сущности, всего лишь обслуживающим персоналом, пусть и высшего разряда.

Принц Котохито, проживший в Париже восемь лет, был большим поклонником новой французской живописи, в особенности Матисса, и встретил в Александре

Николаевиче понимающего собеседника, каких в Японии ему не находилось. «Красных рыб» Александр Николаевич не знал, но готов был поверить принцу на слово, что именно в этом своём шедевре Матисс наиболее явно обнаружил следы внимательного изучения японского искусства.

Последний раз Александр Николаевич был в Париже в одиннадцатом году, до войны, когда «Красные рыбы» были ещё икрой замыслов, зато именно в тот год Матисс выставил на осенней выставке другой свой шедевр, «Танец»… Далее рассказы бабушки о воспоминаниях дедушки плавно перетекали в её собственные воспоминания о той их последней совместной заграничной поездке, и Шурик, легко допускавший умершего дедушку к знакомству с японским принцем, внутренне сопротивлялся тому, что его живая бабушка действительно бывала в городе Париже, само существование которого было скорее фактом литературы, а не жизни.

Бабушке от этих рассказов было большое удовольствие и она, пожалуй, несколько злоупотребляла ими. Шурик выслушивал её смиренно, слегка перебирая ногами от нетерпеливого ожидания давно известного конца истории. Дополнительных вопросов он не задавал, да бабушка в них и не нуждалась. С годами её прекрасные истории застыли, отвердели и, казалось, невидимыми клубками лежали в ящике её секретера рядом с фотографиями и свитком. Что же касается свитка, то он был наградным документом, удостоверяющим, что господину Корну пожалован орден Восходящего Солнца, высшая государственная награда Японии. В шестьдесят девятом году произошло великое переселение семьи из Камергерского переулка – Елизавета Ивановна упрямо и провидчески пользовалась исключительно старыми названиями – к Брестской заставе, на улицу, судя по её названию, проложенную когда-то в пригородном лесу. Вскоре после переезда, уже здесь, на Новолесной, в её мелком рукаве, сбегающем к откосу железнодорожной ветки, соединявшей Белорусскую и Рижскую железную дорогу – Брестскую и Виндавскую, уточняла Елизавета Ивановна, – в новой трёхкомнатной квартире, неправдоподобно просторной и прекрасной, бабушка впервые предъявила пятнадцатилетнему внуку самое сердце легенды: оно лежало в трёх последовательно снимавшихся футлярах, из которых верхний был неродной – шкатулка карельской берёзы безо всяких выкрутасов, с выпуклой крышкой, – зато два внутренние – подлинные японские, один из яблочного нефрита, второй шёлковый, серо-зелёный, цвета переливов зимнего моря. Внутри возлежал он, орден Восходящего Солнца. Сокровище это было совершенно мёртвым и обесславленным, от него остался лишь драгметаллический скелет, а множество бриллиантов, составляющих его душу и, строго говоря, основную материальную ценность, полностью

отсутствовали, напоминая о себе лишь пустыми глазницами.

– А камни съели. Последние пошли на эту квартиру, – известила Елизавета Ивановна пятнадцатилетнего внука, похожего в ту пору на годовалого щенка немецкой овчарки, уже набравшего полный рост и массивность лап, но не нагулявшего ещё ширины грудной клетки и солидности.

– А как же ты их вынимала? – заинтересовался молодой человек технической стороной вопроса.

Елизавета Ивановна вытянула из подколотой косы шпильку, ковырнула ею в воздухе и пояснила:

– Шпилькой, Шурик, шпилькой! Прекрасно выковыривались. Как эскарго.

Шурик никогда не ел улиток, но прозвучало это убедительно. Он покрутил в руках останки ордена и вернул.

– Пятьдесят лет со смерти твоего деда прошло. И все эти годы он помогал семье выжить. Эта квартира, Шурик, его последний нам подарок, – с этими словами она уложила орден во внутренний футляр, потом во второй. А уж потом в деревянную шкатулку. Шкатулку заперла маленьким ключиком на зелёной линялой ленточке, а ключик положила в жестяную коробку из-под чая.

– Как же это он помогал, если умер? – попытался уяснить Шурик. Он выпучил жёлто-карие глаза в круглых бровях.

– Право, у тебя соображение как у пятилетнего дитяти, – рассердилась Елизавета Ивановна. – С того света! Разумеется, я продавала камешек за камешком.

Привычным движением с подковыркой она воткнула шпильку в пучок и задвинула крышку секретера.

Шурик пошёл в свою комнату, к которой ещё не совсем привык, и врубил магнитофон. Взвыла музыка. Ему надо было обдумать это сообщение, оно было одновременно и важным, и совершенно бессмысленным, а под музыку ему

всегда думалось лучше.

Комната его по размеру почти не отличалась от того выгороженного двумя книжными шкафами и нотной этажеркой закута, в котором он обитал прежде. Но здесь была дверь с шариком в замке, она плотно закрывалась и даже слегка защёлкивалась, и ему это так нравилось, что для усиления эффекта он ещё и повесил на дверь записку «Без стука не входить». Но никто и не входил. И мать, и бабушка его мужскую жизнь уважали от самого его рождения. Мужская жизнь была для них загадка, даже священная тайна, и обе они ждали с нетерпением, как в один прекрасный день их Шурик станет вдруг взрослым Корном – серьёзным, надёжным, с большим твёрдым подбородком и властью над глупым окружающим миром, в котором всё постоянно ломалось, расплывалось, приходило в негодность и только мужской рукой могло быть починено, преодолено, а то и создано заново.

4

Происходила Елизавета Ивановна из богатой купеческой семьи Мукосеевых, не столь известной, как фамилии Елисеевых, Филипповых или Морозовых, но вполне преуспевающей, известной по всем южным городам России.

Отец Елизаветы Ивановны, Иван Поликарпович, торговал зерном, чуть не половина оптовой торговли юга находилась в его руках. Елизавета Ивановна была старшей среди пятерых сестёр, самой толковой из всех и самой некрасивой: зубки по-кроличьи вылезали вперед, так что рот даже не совсем закрывался, подбородочек маленький, а лоб большой, выпуклый, над всем лицом нависающий. С раннего возраста было намечено её будущее – племянников растить. Такова была судьба старых дев. Отец Иван Поликарпович любил её, жалел за некрасивость и ценил быстрый ум и сообразительность.

По мере того как число дочерей росло, а наследник никак не появлялся, отец всё внимательней к ней присматривался и, хотя держался самых что ни на есть домостроевских взглядов, отправил её в гимназию. Единственную из всех. Покуда младшие преуспевали в красоте, старшая возрастала в познаниях.

После рождения пятой дочери, сильно переболев, мать Елизаветы Ивановны перестала рожать, и с этого времени отец всё более внимательно относился к Елизавете. После окончания гимназии он определил её в единственное коммерческое училище, куда брали девиц, в Нижнем Новгороде. Хотя Мукосеевы были к тому времени москвичами, сохранилась память об основателе рода, прасоле, занявшемуся хлебной торговлей и пришедшем в Москву именно из Нижнего Новгорода.

Елизавета послушно поехала на новую учёбу, однако вскоре вернулась домой и убедительно объяснила отцу, что учение там бессмысленное, ничему там не учат такому, чего и дурак не знает, а ежели он хочет в самом деле иметь в ней хорошего помощника, то пусть пошлёт её на учёбу в Цюрих или в Гамбург, где и впрямь делу учат, и не по старинке, а в соответствии с теперешней наукой экономикой.

Дуня, вторая дочка Ивана Поликарповича, уже была выдана. Наташа, третья, просватана, и две младшие обещали надолго не засидеться: приданое за ними давали хорошее и собой они были миловидны. Дуня уже принялась рожать, но родила, к большой обиде отца, первую девочку. Всё сходилось к тому, что пока дочери не родят наследника, дело в крепких руках должна передержать Елизавета. Словом, он отправил дочь за границу на ученье. И она поехала в Швейцарию, как на брак – во всём новом, с двумя пахнущими кожей кофрами, со словарями и благословениями.

В Цюрихе она увлеклась новомодной профессией и, несмотря на увесистые благословения, потеряла веру предков, легко и незаметно, как зонтик в трамвае, когда дождь уже прошёл. Так, выйдя из домашнего мира, она вышла и из семейной религии, очерствевшего, как третьеводнишный пирог, православия, в котором она не видела теперь уже ничего, кроме бумажных цветов, золотых риз и всеобъемлющего суеверия. Как многие и не худшие молодые люди своего поколения, она быстро обратилась к иной религии, исповедующей новую троицу – скудного материализма, теории эволюции и того «чистого» марксизма, который ещё не спутался с социальными утопиями. Словом, она приобрела прогрессивные, как считалось, взгляды, хотя ни в какие революционные движения, вопреки моде её юности, не вступила.

Отучившись год в Цюрихе, Елизавета Ивановна не поехала домой на вакации, а, напротив, пустилась путешествовать по Франции. Путешествие вышло недолгим: Париж её так очаровал, что даже до Лазурного Берега она не

доехала. Она написала отцу, что в Цюрих больше не вернётся, а останется в Париже изучать французский язык и литературу. Отец разгневался, но не слишком. К этому времени появился у него долгожданный внук, и в глубине души «Лизкин взбрык» он воспринял как доказательство женской неполноценности и уверился, что напрасно сделал для старшей дочери исключение.

«Нет, оттого что баба нехороша собой, мужиком она не становится», – решил он. Плюнул и велел ей возвращаться. Пособие прекратил. Но возвращаться Елизавета Ивановна не торопилась. Училась, работала. Как ни странно, работала по бухгалтерской части для небольшого банка. То, чему учили её в Швейцарии, оказалось весьма полезным.

В Россию Елизавета Ивановна вернулась только через три года, к концу девятьсот восьмого, с твёрдым намерением начать отдельную от семьи трудовую жизнь. Она была к этому времени совершенно по-европейски эмансипированная женщина, даже и курила, но поскольку французского шарму не набралась, а воспитания была хорошего, то эмансипированность её в глаза не бросалась. Она хотела преподавать французскую литературу, но на государственную службу её не взяли, а в гувернантки она и сама не пошла. Проискав некоторое время подходящую работу и испытав полное разочарование, она приняла неожиданное предложение: муж гимназической подруги определил её в статистический отдел Министерства путей сообщения.

Это были годы, когда заканчивался перевод частных железных дорог в казённое ведомство, и Александр Николаевич Корн осуществлял этот многолетний проект государственной важности. Елизавета Ивановна попала под его начало, на самую скромную должность статистика. Составленные ею документы аккуратно доставлялись по служебной лестнице ему на стол, и уже через полгода самые сложные вопросы, связанные с эксплуатационными расходами на версту перевозок и пробегом грузов он стал поручать исключительно Елизавете Ивановне. Никто, как она, не мог разобраться в пудоверстах и рублях.

Старый Мукосеев не ошибся в своей дочери, её деловые качества действительно оказались самые превосходные. Александр Николаевич, солидный сорокапятилетний вдовец, со всё возрастающей симпатией и уважением смотрел на доброжелательную и милую сослуживицу и на третьем году знакомства сделал ей предложение. На этом следует поставить восклицательный знак. Ни одна из её хорошеньких сестёр и мечтать не могла о

таком браке. Выйдя замуж за Александра Николаевича, Елизавета вовсе отошла от всяких философий своей юности, закончила Педагогический институт и стала успешно заниматься педагогикой. За эти годы она не то что бы разочаровалась в верованиях своей молодости, но они стали казаться не совсем приличными, и от прежних времён остались у неё не крупные принципы, а бытовые установки: трудиться, выполняя своё дело добросовестно и бескорыстно, не совершать дурных поступков, определяя дурное и хорошее исключительно по указаниям собственной совести, и быть справедливой к окружающим. Последнее значило для неё, что в поступках следует руководствоваться не только своими собственными интересами, но принимать во внимание интересы других людей. Всё это было бы невыносимо скучно, если бы не оживлялось её искренностью и естественностью. Дочери Александра Николаевича её полюбили, отношения их были ненатужно-добрыми. Маленькую единокровную сестру Верочку обожали.

Умер Александр Николаевич скоропостижно, летом семнадцатого года, и на женских весах радостей и горестей стрелка у Елизаветы Ивановны навеки замерла на самой высокой точке – те счастливые замужние годы остались с ней навсегда. Невзгоды, беды и лишения, которые обрушились на неё после смерти мужа, она долгие годы относила именно за счёт его отсутствия. Даже случившуюся вскоре революцию она рассматривала как одно из неприятных последствий смерти Александра Николаевича. Вероятно, не зря он постоянно посмеивался над её простодушием и природной невинностью. Качества эти она не потеряла за всю долгую жизнь.

Как человек с недоразвитым чувством юмора и догадывающийся о своём изъяне, она постоянно пользовалась несколькими затверженными шутками и прибаутками. Маленький Шурик часто слышал от неё кокетливое заявление:

– Я – язычница. Преподаю языки.

Преподавателем она была бесподобным, с какой-то особой методикой, необыкновенно привлекательной для детей и чрезвычайно эффективной для взрослых. Предпочитала она занятия с детьми, хотя всю жизнь преподавала в институте и писала сухие и малоинтересные учебники.

Обычно для домашних занятий она составляла группу из двух-трёх детей, часто неровного возраста, так как помнила, как было славно, когда братья и сестры занимались вместе. Именно так было когда-то в её родительском доме – из экономии приглашали одного учителя на всех.

Первый урок французского с маленькими детьми она начинала с того, что сообщала, как будет по-французски «писать», «какать» и «блевать», то есть с тех самых слов, произносить которые в хороших домах было не принято. С первого же дня французский язык превращался в некое подобие тайного языка посвященных. Особенно объединял учеников французский рождественский спектакль, который в течение всего года готовила с ними Елизавета Ивановна. Этот спектакль по жанру был скорее не домашним, а подпольным: российская власть, всегда влезающая в самые печенки обывателям, в те срединные послевоенные годы так же решительно искореняла христианство, как в предшествующие и последующие насаждала. Елизавета Ивановна своими рождественскими спектаклями проявляла врождённую независимость и почтение к культурным традициям.

Шурик в этом спектакле переиграл все роли. Первая, младенца Христа, обычно обозначаемого завёрнутой в старое коричневое одеяло куклой, досталась ему в трёхмесячном возрасте. В последнем спектакле, сыгранном за полгода до смерти бабушки, он изображал старого Жозефа и, к восторгу волхвов, пастухов и осляти, смешно перевирал роль.

Занятия всегда проходили на квартире Елизаветы Ивановны, и Шурик, даже если бы и не обладал хорошими способностями, был обречён выучить язык: комната в Камергерском переулке была хоть и очень большая, но одна-единственная. Деваться было некуда, – и он бесконечно выслушивал одни и те же уроки первого, второго и третьего года обучения. К семи годам он легко говорил по-французски и в более зрелом возрасте даже и вспомнить не мог, когда же он этот язык изучил. «Noel, Noel…» был ему роднее, чем «В лесу родилась ёлочка…»

Когда он пошёл в школу, бабушка начала заниматься с ним немецким, который он воспринимал как иностранный, в отличие от французского, и занятия шли как нельзя лучше. Учился он в школе хорошо, после школы играл во дворе в футбол, слегка занимался спортом и даже, к великому страху матери, ходил в боксерскую секцию, но никаких особенных интересов у него не проявлялось. Чуть ли не до четырнадцати лет любимым его вечерним времяпрепровождением было домашнее чтение вслух. Разумеется, читала бабушка. Читала она прекрасно, выразительно и просто, он же, лежа на диване рядом с уютной бабушкой, продремал всего Гоголя, Чехова и столь любимого Елизаветой Ивановной Толстого. А потом и Виктора Гюго, Бальзака и Флобера. Такой уж был у Елизаветы Ивановны вкус.

Мать тоже вносила свой вклад в воспитание: водила его на все хорошие спектакли и концерты, даже на редкие гастрольные – так он маленьким мальчиком видел великого Пола Скофилда в роли Гамлета, о чем, без сомнения, забыл бы, если бы Вера ему время от времени об этом не напоминала. И, разумеется, лучшие ёлки столицы – в Доме актёра, в ВТО, в Доме кино. Словом, счастливое детство…

5

Мама и бабушка, два ширококрылых ангела, стояли всегда ошую и одесную. Ангелы эти были не бесплотны и не бесполы, а ощутимо женственны, и с самого раннего возраста у Шурика выработалось неосознанное чувство, что и само добро есть начало женское, находящееся вовне и окружающее его, стоящего в центре. Две женщины, от самого его рождения, прикрывали его собой, изредка касались ладонями его лба, – не горит ли? В их шёлковых подолах он прятал лицо от неловкости или смущения, к их грудям, мягкой и податливой бабушкиной, твёрдой и маленькой маминой, он припадал перед сном. Эта семейная любовь не знала ни ревности, ни горечи: обе женщины любили его всеми душевными силами, служили наперегонки, хоть и на разный манер, и не делили его, а, напротив, совместными усилиями укрепляли его нуждающийся в утверждении мир. Его искренне и дружно хвалили, поощряли, им гордились, его успехам радовались. Он отвечал им полнейшей взаимностью, и бессмысленный вопрос, которую из них он больше любит, никогда перед ним не ставили.

Тень безотцовщины, которой обе они когда-то боялись, вообще не возникла. Когда он научился говорить «мама» и «баба», ему показали фотографию, с которой покойный Левандовский посылал неопределённую улыбку, и сказали «папа». Лет семь это его вполне удовлетворяло, и только в школе он заметил некоторый семейный недочёт. Спросил «где?» и получил правдивый ответ – погиб. Известно было, что папа был пианист, и Шурик привык считать, что старенькое пианино в доме и есть свидетельство отцовского былого присутствия.

Если для гармонического развития ребёнка действительно необходимы две воспитательные силы, мужская и женская, то, вероятно, Елизавета Ивановна с её твёрдым характером и внутренним спокойствием обеспечила это равновесие,

помимо пианино.

Любуясь своим рослым и ладным мальчиком, обе женщины с интересом ожидали времени, когда в его жизни появится третья – и главная. Обе были почему-то настроены на то, что их мальчик рано женится, семья пополнится, даст новые побеги. С тревожным любопытством они присматривались к Шуриковым одноклассницам, танцующим нервный и бесполый танец твист на Шуриковом дне рождения, и гадали: не эта ли…

Девочек в классе было гораздо больше, чем мальчиков. Шурик пользовался успехом, и на день своего рождения, шестого сентября, он пригласил чуть ли не весь класс. После лета всем хотелось пообщаться. К тому же начинался последний школьный год.

Загорелые девчонки щебетали, слишком громко смеялись и взвизгивали, мальчики не столько плясали, сколько курили на балконе. Время от времени Елизавета Ивановна или Вера Александровна бочком входили в большую из комнат, собственно говоря, в бабушкину, вносили очередное блюдо и воровским взглядом цепляли девочек. Потом, на кухне, они немедленно обменивались впечатлениями. Обе они пришли в единому мнению, что девчонки чудовищно невоспитанны.

– Звуки, как на вокзале в очереди, а интеллигентные, кажется, девочки, – вздохнула Елизавета Ивановна. Потом помолчала, поиграла кончиками морщинистых пальцев и призналась как будто нехотя, – но какие всё-таки прелестные… милые…

– Да что ты, мамочка, тебе показалось. Они ужасно вульгарные. Не знаю, чего ты там милого нашла, – возразила даже с некоторой горячностью Вера.

– Беленькая, в синем платье, очень мила, Таня Иванова, кажется. И восточная красавица с персидскими бровями, тоненькая, прелесть, по-моему…

– Да что ты, мам, беленькая это не Таня Иванова, а Гуреева, дочка Анастасии Васильевны, преподавательницы истории. У неё зубы через один растут, тоже мне прелесть, а восточная твоя красавица, не знаю, не знаю, что за красавица, у неё усы, как у городового… Ира Григорян, ты что, не помнишь её?

– Ну ладно, ладно. Ты, Верочка, прямо как коннозаводчик. Ну, а Наташа, Наташа Островская чем тебе не хороша?

– Наташа твоя, между прочим, с восьмого класса дружит с Гией Кикнадзе, – с оттенком некоторого личного оскорбления заметила Вера.

– Гия? – изумилась Елизавета Ивановна. – Такой карапуз смешной?

– Видимо, Наташа Островская так не думает…

Елизавета Ивановна кое-чего не знала, что было известно Вере. Шурик в Наташу был горячо влюблён с пятого класса, а она предпочла смешного сонного Гию, который был в ту пору молчалив, зато когда открывал рот, все покатывались со смеху: в остроумии ему не было равных.

Словом, бабушке девочки не нравились в массе, но каждая в отдельности казалась ей привлекательной. Вера, напротив, была убеждена, что школа Шурика чуть не лучшая в городе, класс прекрасный, исключительно дети интеллигентных родителей, то есть в сумме ей все нравились, зато каждая девочка в отдельности обладала отталкивающими недостатками…

А Шурику нравилось всё, – и в общем, и в частности. Он научился твисту ещё в прошлом году, и ему нравился этот смешной танец: как будто ты стягиваешь с себя прилипшую мокрую одежду. Ему нравилась и Гуреева, и Григорян, и даже Наташе Островской он простил измену, тем более что Гия был его другом. Также ему очень понравился фруктовый торт со взбитыми сливками, который испекла бабушка. И новый магнитофон, который ему подарили к семнадцатилетию.

К десятому классу Шурик окончательно определился – решил поступать на филфак, на романо-германское отделение. Куда же ещё?..

6

В самом начале последнего школьного года Шурик купил себе абонемент на лекции по литературе, которые читали лучшие университетские преподаватели.

Каждое воскресенье Шурик бегал в университет на Моховую, занимал место в первом ряду Коммунистической, бывшей Тихомировской, аудитории и старательно записывал интереснейшие лекции крохотного старого еврея, крупного знатока русской литературы. Лекции эти были столь же восхитительны, сколь и бесполезны для абитуриентов. Лектор мог битый час говорить о дуэли в русской литературе: о дуэльном кодексе, об устройстве дуэльных пистолетов с их гранёными стволами, тяжёлыми пулями, забиваемыми в ствол с помощью короткого шомпола и молотка, о жребии, брошенном серебряной монеткой, о фуражке, наполненной розово-жёлтой черешней и о черешневых косточках, предвосхитивших отсроченный полет пули… о прозрении поэта и о сотворении жизни по образцу вымысла, словом, о вещах, не имеющих ни малейшего касательства к тематическим сочинениям «Толстой как зеркало русской революции» или «Пушкин как обличитель царского самодержавия»…

Справа от Шурика сидел Вадим Полинковский, слева – Лиля Ласкина. С обоими он познакомился на первой же лекции.

Маленькая, броская, в белых остроносых ботиночках и в кожаной мини-юбке, убивающей без разбора нравственных старушек, безнравственных студенток и незаинтересованных прохожих, Лиля крутила стриженой, плюшевой на ощупь головой, как заводная игрушка, и беспрестанно стрекотала. Кончик её длинного носа еле уловимо двигался при артикуляции вверх-вниз, ресницы на часто моргающих веках трепетали, а мелкие пальчики, если не теребили платок или тетрадь, стригли вокруг себя тяжёлый воздух. К тому же она не отошла ещё от детской привычки проворно и бегло поковыривать в носу.

Обаяния в ней была бездна, и Шурик влюбился в неё так крепко, что это новое чувство затмило все прежние его мелкие и многочисленные влюблённости. Опыт чувственной приподнятости, когда кажется, что даже электрические лампочки усиливают свой накал, был знаком ему с детства. Он влюблялся во всех подряд – в бабушкиных учеников – как девочек, так и мальчиков, в маминых подруг, в одноклассниц и учительниц, но теперь Лилино весёлое сияние всё прежнее обратило в смутные тени…

Полинковского Шурик воспринимал как соперника до тех пор, пока однажды, в начале лекции, указав глазами на пустующее Лилино место, он не прошептал:

– Мартышечки-то нашей сегодня нет…

Шурик изумился:

– Мартышечки?

– А кто же она? Вылитая мартышка, ещё и кривоногая…

И Шурик полтора часа размышлял о том, что есть женская красота, пропустив мимо ушей тонкие соображения лектора о второстепенных персонажах в романах Льва Николаевича, – чудаковатый лектор всегда находил способ уйти подальше от школьной программы в каменоломни спорного литературоведения…

В тот раз некого было провожать до дому, и они с Полинковским прошлись от Моховой до самого Белорусского вокзала. Шурик больше помалкивал, переживая смущение, в которое Полинковский поверг его своим небрежным отзывом о прелестной Лиле. Полинковский же, время от времени отряхивая снежинки с кудрей, пытался об Шурика разрешить свою собственную проблему: он всё не мог склониться в правильную сторону, то ли сдавать ему в Полиграфический, где отец преподавал, то ли в университет, а может, плюнув на всё, податься в геолого-разведочный… У Белорусского Шурик предложил Полинковскому зайти в гости, и они свернули на Бутырский вал. Проходя мимо железнодорожного мостика, перекинутого над полузаброшенным полотном, Полинковский сообразил, что по этой дороге, через мостик, можно выйти к мастерской его отца и предложил Шурику посмотреть мастерскую. Но Шурик торопился домой, и уговорились на завтра. Полинковский написал ему адрес на клочке бумаги, потом они немного потоптались во дворе и зашли к Шурику. Елизавета Ивановна накормила их ужином, и они стали слушать в Шуриковой комнате музыку, которой у него было много записано на коричневых магнитных лентах. Полинковский выкурил заграничную сигарету и ушёл.

Оставшуюся часть вечера Шурик промаялся, не решаясь позвонить Лиле. Её телефон был у него записан, но он пока ещё ни разу ей не звонил, дело ограничивалось лишь корректными проводами до подъезда старого дома в Чистом переулке.

На другой день, в понедельник, Лиля всё не выходила у него из головы, но позвонить он не решался, хотя номер её телефона сам собой всплывал и напрашивался… К вечеру он так умаялся, что вспомнил про вчерашнее

необязательное приглашение Полинковского и пошёл под вечер из дому – прогуляться, как сказал матери.

Записочку с адресом он уже потерял, но адрес запомнился, он состоял из одних троек.

Мастерские эти оказались не так уж близко за мостиком, он довольно долго искал описанный Вадимом дом с большими окнами. Наконец разыскал и дом, и номер нужной мастерской, постучал в чуть приоткрытую дверь. Вошёл – и остолбенел. Прямо перед ним на низкой подставке сидела совершенно голая женщина. Некоторые женские части были не видны, но грудь бело-розовая, в голубых прожилках, во всех её потрясающих подробностях, светила, как прожектор. Вокруг женщины расположилось десятка два художников.

– Дверь! Дверь прикройте! Дует же! – прикрикнул на Шурика сердитый женский голос. – Чего же вы опаздываете? Садитесь и начинайте работать.

Красивая женщина в чёрной мужской рубашке, с чёрной блестящей чёлкой, свисающей на глаза, махнула неопределённо позади себя. Подчинившись её жесту, он сел в дальнем углу помещения на нижнюю ступень стремянки. Все рисовали, грубо шурша карандашами. Шурик плохо соображал. Он догадывался, что где-то здесь его новый знакомый Вадик, но не мог отвести глаз от крупного коричневого соска, уставленного в него, как указательный палец. Шурик испугался, что голая женщина поднимет голову и поймёт, что с ним происходит. А с ним происходило… Он понимал, что надо уйти. Но уйти не мог. Он протянул руку к стопке сероватой бумаги, лежавшей на полу, и отгородился листом ото всех. Пребывание его здесь было почти преступным, он ждал, что сейчас его обнаружат и выгонят. Но сдвинуться с места он не мог. Рот его попеременно то высыхал, то наполнялся большим количеством жидкой слюны, и он судорожно, как у зубного врача, заглатывал её. При этом он воображал, что подходит к сидящей женщине, поднимает её с подиума и проводит рукой там, где тень была особенно густа… Весь этот сладкий кошмар длился, как показалось Шурику, нескончаемо долго. Наконец натурщица встала, надела бордово-жёлтый байковый халат и оказалась не очень молодой коротконогой женщиной с толстыми хомячьими щеками и полностью лишённой волшебства – как любая из его бывших соседок по коммунальной квартире. Пожалуй, это и было самым поразительным… Значило ли это, что каждая из тех женщин в байковых халатах, которые выходили на общую кухню с пригорелыми чайниками, носили под своими халатами такие же могучие соски и притягательные складки и

тени…

Люди, молодые и старые, стали складывать бумаги и деловито расходиться. Вадима среди них не было. Красивая женщина в чёрной рубашке издали приветливо ему кивнула и сказала:

– Останься, поможешь убрать.

И он остался. Передвинул стулья, куда она указала, часть вынес в коридор, сдвинул помост, а когда закончил, она усадила его за шаткий столик и протянула чашку чая.

– Как Дмитрий Иванович? – спросила она. Шурик замялся и что-то промычал.

– Ты ведь Игорь, да?

– Александр, – выдавил он из себя.

– А я была уверена, что ты Игорь, Дмитрия Ивановича сын, – засмеялась она. – Откуда же ты взялся?

– Я случайно… Я Полинковского искал… – пролепетал Шурик, наливаясь малиновым цветом.

Из глаз его едва не капали слёзы. «Она, наверное, думает, что я пришёл на голую натурщицу смотреть…»

Женщина смеялась. Губы её прыгали, над верхней губой растягивалась и сокращалась тёмная полоска маленьких волосиков, узкие глаза сошлись в щелочки. Шурик готов был умереть.

Потом она перестала смеяться, поставила чашку на стол, подошла к нему, взяла его за плечи и крепкими руками прижала к себе:

– Ах ты, дурачок…

И через грубошерстную ткань куртки он ощутил крепость её большого соска, упершегося ему в плечо, а потом уже почуял бездонную и тёмную глубину её тела. И легчайший, еле ощутимый кошачий запах…

Самое удивительное, что Полинковского Шурик больше никогда в жизни не видел. На курсах с тех пор он ни разу не появился. Вероятно, в сценарии Шуриковой жизни он оказался фигурой совершенно служебной, лишённой самостоятельной ценности. Много лет спустя, вспоминая об этом экстравагантном экспромте, Матильда Павловна как-то сказала Шурику:

– А Полинковского и не было никакого. Это был мой личный бес, понял?

– Я к нему не в претензии, Матюша, – хмыкнул Шурик, к тому времени уже не малиновый подросток, а несколько бледноватый и упитанный тридцатилетний мужчина, выглядевший, пожалуй, даже старше…

7

Прошло чуть больше двух месяцев с тех пор, как завязалась история с Матильдой, и как же всё изменилось. С одной стороны, он как будто оставался всё тем же: смотрел на себя в зеркало и видел овальное розовое лицо с чёрным налетом щетины по вечерам, прямой широковатый нос с точечками в расширенных порах, круглые брови, красный рот. У него были широкие плечи, худые, недобравшие мускулатуры руки и тяжеловесные икры. Безволосая плоская грудь. Он немного занимался боксом и знал, как собирается всё тело, как устремляются все силы в плечо, в руку, в кулак перед нанесением удара, как подтягиваются ноги перед прыжком и как всё тело, до самой маленькой мышцы, участвует в каждом движении, имеющем назначенную цель, – удар, бросок, прыжок… Но с другой стороны, всё это было полной глупостью, потому что, как оказалось, из тела можно извлекать такое наслаждение, что никакой спорт в сравнение не шёл. И Шурик с уважением смотрел в запотевшее зеркало в ванной комнате и на свою безволосую грудь, и на плоский живот, посреди которого, пониже пупка, была прочерчена тонкая волосяная дорожка вниз, и он почтительно клал руку на своё таинственное сокровище, которому подчинялось всё тело, до последней клетки.

Конечно, это Матильда Павловна запустила в действие этот замечательный механизм, но он предчувствовал, что теперь это никогда не кончится, что ничего лучше в жизни не бывает, и смотрел с этой поры на всех девочек, на всех женщин изменившимся взглядом: каждая из них, в принципе, могла запускать в действие его бесценное орудие, и при этой мысли рука его наполнялась отяжелевшей плотью, и он морщился, потому что понедельник был только вчера и до следующего надо было ждать пять дней…

Зато до встречи с Лилей оставалось всего четыре. Эмоции эти никак не пересекались. Да и как, по какому поводу могла бы пересечься весёлая хрупкая Лиля, которую он провожал с лекций по воскресеньям, стоял с ней часами в высоком подъезде старого дома, грел в горящих ладонях её детские пальчики и не смел поцеловать, – с великолепной Матильдой Павловной, обширной и спокойной, как холмогорская корова, в которой он тонул весь без остатка по понедельникам, именно по понедельникам, когда приходил к ней в мастерскую после окончания сеанса, помогал убирать стулья, а потом провожал в однокомнатную холостяцкую квартирку неподалеку, где ожидала её кошачья семья – три крупные чёрные кошки, находящиеся в кровосмесительном родстве. Матильда давала кошкам рыбу, мыла руки и, пока кошки мерно, не торопясь, но с аппетитом расправлялись со своим кормом, она тоже, не торопясь и с аппетитом, подкрепляла себя с помощью прекрасно для этого приспособленного молодого человека.

Мальчик этот был случайностью, прихотью минуты, и она вовсе не собиралась с ним тешиться больше одного случайного раза. Но как-то затянулось. Ни распутства, ни цинизма, а уж тем более половой жадности, толкающей зрелую женщину в неумелые объятья юноши, не было в Матильде. Трезвость и чрезмерное увлечение работой смолоду помешали её женскому счастью. Когда-то она была замужем, но, потеряв первенца и едва не отправившись на тот свет, незаметно упустила своего пьющего мужа, он обнаружился в один прекрасный миг почему-то у её подруги и, не больно о нем печалясь, она зажила трудовой жизнью мужика-ремесленника: лепила, формовала, работала и с камнем, и с бронзой, и с деревом. Со временем вошла в колоду скульпторов, хорошо зарабатывающих на государственных заказах, и отваяла целый полк героев войны и труда. Работала она, как мать её, крестьянка из Вышнего Волочка, от зари до зари, не из понуждения, а из душевной необходимости. Время от времени у неё заводились любовники из художников или из работяг-исполнителей. Каменотесы, литейщики. Мужики почему-то попадались всегда пьющие, и связи превращались сами собой в довольно однообразное мытарство. Она зарекалась от них, потом снова ввязывалась, и ей всё было наперед

известно с этим народцем, который постоянно толокся возле неё, так что у неё в последнее время уже и рука набилась выпроваживать их прежде, чем они поутру попросят её сгонять за бутылкой на опохмел.

Этот мальчик приходил к ней по понедельникам как будто по уговору, хотя никакого уговора между ними не было, и ей всё казалось, что это в последний раз позволяет она себе такое баловство. А он всё ходил и ходил.

Незадолго до Нового года Матильда Павловна заболела жестоким гриппом. Два дня пролежала она в полузабытьи, в окружении встревоженных кошек. Шурик, не найдя её в мастерской, позвонил в дверь её квартиры. Естественно, был понедельник, начало девятого.

Он сбегал в дежурную аптеку, купил какой-то никчемной микстуры и анальгина, убрал за кошками, вынес помойку. Потом вымыл полы на кухне и в уборной. Кошки за время её болезни изрядно набезобразничали. Матильде Павловне было так плохо, что она почти и не заметила его хозяйственного копошения. Назавтра он пришёл снова, принёс хлеба и молока, рыбы для кошек. Всё с неопределённой улыбкой, без утомительных для Матильды Павловны разговоров.

К пятнице у неё упала температура, а в субботу Шурик слёг – схватил-таки вирус. В очередной понедельник он не пришёл.

– Хорошенького понемножку, – решила Матильда Павловна с некоторым даже удовлетворением. Но заскучала. Зато когда он появился через неделю, встреча у них получилась особенно сердечная, и их бессловесное постельное общение оживилось одним тихо произнесённым Матильдой словом – дружочек.

8

После Нового года Шурик с особым усердием принялся за подготовку в университет. Елизавета Ивановна, ушедшая на пенсию, усиленно занималась с ним французским. Все, что с юности любила она, проходила она теперь заново с внуком. Елизавета Ивановна была вполне довольна успехами Шурика. Язык он знал лучше, чем многие выпускники её педагогического института. Зачем-то она

велела ему учить наизусть длинные стихотворения Гюго и читать старофранцузскую поэзию. Он втянулся, находил в этом вкус.

Когда, уже после окончания института, во время Олимпиады, он познакомился с молоденькой француженкой из Бордо, первой живой иностранкой в его жизни, от его старомодного языка она пришла в полное исступление. Сначала хохотала едва не до слёз, а потом расцеловала. Вероятно, он звучал как Ломоносов, доведись тому выступать в Академии Наук году в девятьсот семидесятом. Зато сам Шурик едва понимал по-южному «рулящую» и по-студенчески усечённую речь француженки и постоянно переспрашивал, что она имеет в виду.

Несмотря на свой преклонный возраст, Елизавета Ивановна ещё давала частные уроки, но учеников было не так много, как прежде. Но рождественский спектакль она всё же не отменила. Правда, начало января было таким холодным, что спектакль всё откладывался – до последнего дня школьных каникул.

В центре большой комнаты места для ёлки не было, там всё было заставлено стульями и табуретками, ёлка же стояла в углу, как наказанная. Зато она была совершенно настоящая, украшена бережно сохранёнными Елизаветой Ивановной старинными ёлочными игрушками: карета с лошадками, балерина в блестках, чудом выжившая стеклянная стрекоза, подаренная Елизавете Ивановне на Рождество тысяча восемьсот девяносто четвёртого года любимой тётушкой. Под ёлкой, рядом с рыхлым и пожелтевшим от старости Дедом Морозом, стоял вертеп с девой Марией в красном шёлковом платье, Иосифом в крестьянском зипуне и прочие картонажные прелести…

Угощение было приготовлено особенное, рождественское. По всей квартире, даже на лестнице, стоял ёлочно-пряничный запах: на большом подносе под белой салфеткой лежали, завёрнутые каждый по отдельности, тонкие фигурные пряники. Елизавета Ивановна пекла их из какого-то специального медового теста, они были сухонькие, островатые на вкус, а поверху разрисованы белой помадкой. К каждой из звёзд и ёлочек, к каждому из ангелков и зайцев прилагалась записка, на которой каллиграфическим почерком по-французски была написана какая-нибудь милая глупость. Что-то вроде: «В этом году вас ждёт большая удача», «Летнее путешествие принесёт неожиданную радость», «Остерегайтесь рыжих». Всё это называлось рождественским гаданьем.

Пряники были слишком красивы, чтобы их просто слопать, и к чаю, который устраивали после спектакля, подавали обыкновенные пироги и печенья… Каждый участник имел право привести с собой одного гостя, и обыкновенно приводили сестёр, братьев, иногда одноклассников.

Вера, тихонько пошушукавшись с Елизаветой Ивановной, предложила Шурику привести на спектакль ту университетскую девочку, которую он каждое воскресенье так подолгу провожает.

Отношения с матерью были как раз настолько доверительны, чтобы доложить о существовании Лили и не обмолвиться ни словом о Матильде Павловне.

Целую неделю Шурик отговаривался. Ему не хотелось приглашать Лилю на детский праздник, он с большим удовольствием пошёл бы с ней в кафе «Молодёжное» или на какую-нибудь домашнюю вечеринку к одноклассникам. Однако под давлением матери он всё-таки буркнул Лиле что-то про детский спектакль, который устраивает его бабушка, а она с неожиданным азартом завопила:

– Ой, хочу, хочу!

Таким образом, пути к отступлению были отрезаны. Уговорились, что Шурик её встречать не выйдет, потому что у него перед спектаклем было много производственных забот.

Он чуть не с утра возился с малышами, вправлял вывихнутое крыло неуклюжему ангелу, утешал плачущего Тимошу обнаружившего вдруг унизительность своей роли и наотрез отказавшегося надеть на себя ослиные уши, сшитые Елизаветой Ивановной из серых шерстяных чулок. Вся эта «мелочь пузатая», как называл Шурик бабушкиных учеников, Шурика обожала, и иногда, когда у Елизаветы Ивановны поднималось давление и начиналась тяжкая боль в затылке, он заменял бабушку на уроках, к большому восторгу учеников.

Лиля пришла сама, по адресу. Дверь открыла Вера Александровна – и остолбенела: перед ней стояло маленькое существо в огромной белой шапке, и сквозь падающие чуть ли не до подбородка лохмы неопрятного меха проглядывали накрашенные густой чёрной краской игрушечные, как у плюшевого зверька, глазки. Они поздоровались. Девочка стащила с себя

огромную шапку. Вера не удержалась:

– Да вы просто как Филиппок!

Находчивая девочка растянула длинный рот в улыбке:

– Ну, это не самый страшный персонаж в русской литературе!

Она раздернула фасонистую красную молнию на лёгкой, явно не по сезону куртке, и осталась в маленьком чёрном платье, сплошь покрытом белыми волосами от шапки. В большом, едва не до пояса, вырезе светилась худая голая спинка, тоже покрытая волосками – тонким собственным пушком. От вида этой голубоватой детской спины у Веры от жалости и брезгливости защемило сердце.

– Садитесь вон туда, в уголок, там уютное место. Шарфик не снимайте, там дует от окна, – предупредила Вера Александровна, но Лиля затолкала шарф в рукав куртки. – А Шурик сейчас выйдет, он там с маленькими возится…

Протискиваясь в детской толпе мимо матери, Вера шепнула ей на ушко:

– Эта Шурикова девочка – прямо на роль Иродиады…

Елизавета Ивановна, уже кинувшая на неё свой цепкий взгляд, поправила:

– Скорее на роль Саломеи… Но, знаешь, Верочка, она очень изящна, очень…

– Да ну тебя, мама, – рассердилась неожиданно Вера. – Она же просто маленькая нахалка… Наверное, Бог знает из какой семьи…

И Вера испытала прилив ужасной неприязни к этой стриженой профурсетке…

Но Лиля не почувствовала этой неприязни, напротив, ей, из её уголка, всё страшно нравилось: и смешанный запах ёлки с пряником, и домашний спектакль с привкусом дворянской жизни, известной из русской литературы, и сами эти «смешные бабуськи», как сразу же про себя определила она обеих Шуриковых родительниц, – хрупкую, с длинной морщинистой шеей, окружённой жёваным кружевцем, со старомодным пучком седоватых волос Веру Александровну и

более массивную, тоже с кружевцем на шее, но по-иному уложенным, с ещё более старомодным пучком беленьких мелко гофрированных волос Елизавету Ивановну.

Вера громко стучала по жестким клавишам пианино, так что через мелодии французских рождественских песенок прослушивались сухие щелчки её ногтей, но дети пели трогательно, и спектакль шёл на редкость хорошо, никто ничего не забывал, не падал и не путался в костюмах, да и святой Иосиф блеснул импровизацией: когда настало время бегства в Египет, он подхватил на руки ослика с чулочными ушами, и деву Марию, опасливо севшую верхом на малолетнее животное, и старенькое коричневое одеяло, которое изображало младенца Христа, и все завизжали, захохотали и запрыгали. Наконец Шурик снял с себя плащ и лысину из капрона – это был единственный настоящий театральный реквизит, позаимствованный Верой Александровной специально для этого случая из цехов, – сгрёб в кучу остальные костюмы и унёс. Дальше по программе полагалось быть чаю, и пили чай из электрического самовара, без особого интереса ели домашние пироги и ждали, наконец, обещанного гаданья.

Елизавета Ивановна, розовая и влажная, как после ванны, запускала руку под салфетку и вышаривала оттуда очередной пряник с запиской. Взрослые тоже выстроились в очередь. Протянула руку и Лиля. «Бабуська» посмотрела на неё приветливо, что-то пробормотала по-французски и вытянула ей самый большой свёрток. Лиля развернула. Там был барашек, весь в спиралях из белой помадки. А в записке было написано «Перемена квартиры, перемена жизни, перемена участи». Лиля показала бумажку Шурику: – Вот видишь…

9

Лилины родители были тридцативосьмилетние еврейские математики, с байдарками, горными лыжами и гитарами. Мама её весело материлась через слово, а папа любил выпить. Но пить неумел. Однако отказаться от этого общенародного развлечения никак не мог, и время от времени мама притаскивала его из гостей бледного, пахнущего блевотиной, засовывала в ванную, беззлобно и смешно ругала, а потом волокла его, голого, укутанного в полотенце, в комнату, укладывала, укрывала, поила чаем с лимоном и аспирином и приговаривала:

– Что русскому здорово, то еврею смерть…

Это был чистый плагиат, ещё Лесков эту пословицу где-то подобрал и использовал, но было смешно.

Ко всему тому документы на отъезд уже были поданы, с работы оба уволились, и уже несколько месяцев семья жила на истерическом подъеме: и радостно, и весело, и страшно… Не совсем понятно было, то ли отпустят, то ли откажут, то ли вообще посадят. За отцом водились какие-то грешки: что-то где-то опубликовал, подписал, высказал. Уже год как длилось это затяжное прощание с Россией и с любимыми друзьями, и они то вдруг срывались в Ленинград, то снимали Лилю с учёбы и тащили в Самарканд, то обнаруживали каких-то неизвестных родственников на Украине, приглашали их на прощанье, и целую неделю по квартире тяжко топали две толстые пожилые еврейки такого провинциального покроя, что и вообразить невозможно, – помесь Шолом Алейхема с антисемитскими пародиями.

Лиля никакие могла решить, стоит ли пытаться поступать в университет. Что не примут, это само собой разумеется, но ведь надо себя проверить, попробовать. А если примут – ещё того глупее… Мама отговаривала – брось, занимайся языком, это тебе важнее. Мама имела в виду, конечно, иврит. Отец считал, что она должна поступать, и говорил матери в ночной тишине, секретно от Лили:

– Пусть у неё будет свой опыт, ей слишком хорошо живётся. Пусть завалится для укрепления еврейского самосознания…

После Нового года Лиля как-то расслабилась, плюнула на подготовку к экзаменам, стала прогуливать школу и пристрастилась к бессмысленным и бесцельным прогулкам по утренней Москве. Шурик, напротив, исправлял наметившиеся было тройки по алгебре и физике и наводил лоск на предметы, по которым ему предстояло экзаменоваться.

Ближе к весне Вера Александровна взяла отпуск, чтобы уделять мальчику побольше внимания. Но это было совершенно излишне: Шурик проявлял неожиданную высокоорганизованность, много занимался и мало слушал Эллу Фицджералд. К нему теперь приходила на дом преподавательница русского языка и литературы, и к историку он ездил два раза в неделю. Экзамены на аттестат зрелости он сдал почти на отлично, даже удивив преподавателей

математики и физики. Школа была окончена, оставался последний рывок, но, к неудовольствию Веры, каждый вечер он уходил из дому и возвращался Бог знает когда. Большую часть вечеров он проводил с Лилей. Некоторую – с Матильдой Павловной. Но об этом он не докладывал.

Иногда Лиля и сама приезжала к Шурику. По каким-то таинственным признакам можно было заключить, что скоро Ласкины получат разрешение, и это придавало острый вкус их отношениям: было ясно, что расстаются они навсегда. Вера за это время несколько к Лиле смягчилась, хотя по-прежнему считала её взбалмошной и несерьёзной. Но очаровательной.

Почти каждый вечер они гуляли по Москве. Заезжали иногда в какой-нибудь незнакомый район вроде Лефортова или Марьиной Рощи, и чуткая Лиля со своим прощальным зрением научала Шурика видеть то, чего она и сама раньше не умела: осевший на задние лапы, как старый пес, дом, слепой поворот обмелевшей улицы, старое дерево с протянутой рукой нищенки… Они терялись в проходных дворах Замоскворечья, вдруг выходили на пустую набережную, а то за двумя скучными домами находили чудесную церковку с освещенным полуподвальным окном, и Лиля плакала от неясных предчувствий, от необъяснимого страха перед желанным отъездом, и они, прислонившись к ветхому забору или устроившись на уютной скамеечке, сладко и опасно целовались. Лиля вела себя гораздо более дерзко, чем Шурик, и они неостановимо приближались если не к цели, то к некоторой границе. Шурикова недавнего опыта хватало, чтобы уклониться от последнего свершения, но девочкины ласки доставляли новое наслаждение и совсем иное, чем то, что он находил у Матильды Павловны. Впрочем, и то и другое было прекрасно, одно другому не мешало и не противоречило. Лиля, тонкая и безгрудая, была вовсе не костлява, а плотна и мускулиста повсюду, куда доставали его пальцы. Он знал на ощупь те влажные места, где поверхность, извернувшись, превращалась во внутренность, и от прикосновения к которым она тонко, как щенок, стонала.

Далеко за полночь он приводил её к парадному. Свет обыкновенно горел в их втором этаже, и Лиля, пискнув в последний раз, вытирала влажные руки, оправляла юбочку и неслась наверх, навстречу укоризненному материнскому взгляду и бурчанию отца. Обыкновенно в доме ещё сидели последние, до утра не рассасывающиеся гости.

В июле начались экзамены. Лиля документов не подала – ей уже мерещились новые берега: дунайские, тибрские, иорданские… Шурик написал сочинение на

четвёрку, а по истории получил пять. Это был очень хороший результат, потому что пятёрок за сочинение почти не ставили. Теперь всё зависело от языка. Получи он «отлично» по французскому, он бы прошёл.

В день экзамена оказалось, что его нет в списке экзаменующихся. Он пошёл в приёмную комиссию, где густая толпа растрёпанного народа осаждала злющую секретаршу. Обнаружилось, что его занесли в список абитуриентов, сдающих немецкий язык, поскольку в школьном аттестате значился у него немецкий. Шурик страшно растерялся, пустился в объяснение, что он при подаче заявления просил зачислить его в группу, сдающую французский, и это было согласовано, что готовился он именно к французскому… Но пожилая секретарша, подщёлкивая новой, плохо подогнанной челюстью, производила какие-то гимнастические упражнения языком в глубине рта и слушать его не стала. Забот у неё было по горло, во рту же ломило и поджимало, и она, не вникая в его путаные объяснения, цыкнула, чтобы он шёл сдавать экзамены в соответствии со списком и не морочил ей голову.

Разумеется, если бы мама или бабушка пошли его провожать на экзамен, этого бы не произошло. Уж они бы уговорили секретаршу перенести Шурикову фамилию в другой список, либо нажали бы на самого Шурика и заставили бы его экзаменоваться по-немецки. Ну, не готовился специально! Так ведь не зря с ним Елизавета Ивановна немецкие глаголы штудировала… Но Шурик сказал домашним «нет», и никто с ним не пошёл, потому что его мужское слово уважали.

Теперь он вышел из волшебного здания на Моховой, твёрдо зная, что никогда туда не вернётся. Был чудесный июль, воздух полон цветочными запахами и солнечной пылью. Сумасшедшая городская пчела кружила вокруг Шуриковой несчастной головы, он отогнал её, махнув рукой и больно зацепив себя ногтем по носу. Всё было так досадно. Он спустился на Волхонку, прошёл мимо Пушкинского музея, у бассейна свернул на набережную и с набережной лёгким кружным путём подошёл к Лилиному дому. Ласкины накануне получили долгожданное разрешение на выезд, и Шурик уже знал об этом из вчерашнего телефонного разговора. Он поднялся в Лилину квартиру. Она была дома одна, если не считать завала грязной посуды, оставшейся после грандиозной попойки. Родители побежали по инстанциям: надо было собрать мильон разнообразных бумажек в очень короткий срок. Это тоже входило в издевательскую процедуру отъезда – долго, иногда годами, тянуть с разрешением, а потом дать недельный срок на сборы.

Шурик с порога, не дав ей и вопроса задать, рассказал о своём неожиданном провале. Она замахала руками, затрещала, обвалила на него ворох обрывчатых слов: скорей, пойдём, надо что-то делать, немедленно позвони маме, пусть бабушка едет сейчас же в приёмную комиссию… Какая глупость, какая глупость, почему же ты не пошёл сдавать немецкий?..

– Я не готовился по-немецки, – пожал Шурик плечами.

Он обнял её. Словесный поток иссяк, и она заплакала. И тут Шурик понял, что он потерял гораздо больше, чем университет, он потерял эту Лилю, потерял всё… Она уедет через неделю, уедет навсегда, и теперь совершенно не имело никакого значения, поступил он в университет или нет.

– Никуда я не буду звонить, никуда не пойду, – сказал он в её маленькое ухо.

Ухо было мокрым от размазанных слёз. Слезы лились густо, и его лицо тоже стало мокрым. Причина этих слёз была огромна и не поддавалась описанию. Вернее, причин было множество, а не сданный Шуриком экзамен был последним камешком в этом камнепаде.

– Не уезжай, Ласочка, – бормотал он, – мы поженимся, ты останешься. Зачем уезжать…

Ему не хватало до восемнадцати лет трёх месяцев, ей – полугода.

– Ах, господи, надо было раньше, уже всё поздно, – плакала Лиля, вжимаясь ему в грудь, в живот всем своим маленьким телом. Слабо пришитые пуговицы ссыпались с её белого, сшитого из двух головных платков халатика, он чувствовал пальцами все тонкие мышцы её узкой спины. Она определённо тянула его к дивану, не переставая сыпать бессмысленными словами: надо позвонить Вере Александровне, надо в приёмную комиссию, ещё не всё потеряно…

– Потеряно, всё потеряно, Ласочка! – Шурик тискал её детские руки, котом оцарапанные, с обкусанными ногтями, в цыпках, которые ей каким-то образом удалось сохранить с зимы, и он не умел выговорить, какие чувства вызывают в нем её руки, и кривые слабые ножки, и оттопыренное ухо, торчащее из жестких стриженых волос. И он лепетал:

– Ты такая… Ты такая необыкновенная, и самое в тебе лучшее – твои ручки, и ножки, и ушки…

Она засмеялась, смахивая слёзы:

– Шурик! Это мои самые главные недостатки – кривые ноги и торчащие уши! Я папу своего за них ненавижу, от него досталось, а ты говоришь – самое лучшее.

Шурик, не слыша её, гладил её ноги, в горсть забирал обе маленькие ступни, прижимал к груди:

– Я буду скучать по отдельности по ручкам твоим, по ножкам, по ушкам.

Так, совершенно случайно, Шурик открыл самый тайный и великий закон любви: в выборе сердца недостатки имеют более притягательную силу, чем достоинства – как более яркие проявления индивидуальности. Впрочем, он не заметил этого открытия, а у Лили была вся жизнь впереди, чтобы это понять…

Лиля поджала под себя ноги, повернулась, упершись спиной в Шурикову грудь, а он теперь держал ладони на её шее и чувствовал биение жилок справа и слева, и биение это было быстрым-быстрым, переливчатым, как мелкий ручей.

– Не уезжай, Лилечка, не уезжай…

Вернувшаяся с работы соседка стучала в дверь и кричала:

– Лиля! Лиля! Ты что, заснула? Ваш чайник сгорел!

Смешно сказать, чайник! Вся жизнь у них сгорала… Про несданный экзамен больше не вспоминали…

Дальнейшие события развивались так стремительно, что Шурик потом лишь с трудом смог восстановить их последовательность.

Елизавета Ивановна, мужественно пережившая на своём веку смерть мужа, любимой падчерицы, гибель сестёр, эвакуацию и всякого рода лишения,

незначительной неудачи с Шуриковым экзаменом не выдержала. В тот же вечер с тяжёлым сердечным приступом её увезли в больницу. Приступ развился в обширный инфаркт.

Вера, привыкшая за всю свою жизнь к роскоши тонких и сильных эмоций, очень переживала. Всё у неё валилось из рук, она ничего не успевала. Она варила матери бульон, стоя над булькающей кастрюлей в ожидании конца мероприятия, а перед уходом в больницу вспоминала, что забыла купить одеколон. Ехала в центр за хорошим одеколоном, а потом опаздывала в больницу к приёмному часу и платила большие деньги противнейшей гардеробщице, чтобы её впустили. И так было каждый день, каждый день…

Елизавета Ивановна лежала под капельницей, была бледна, молчалива и не хотела умирать. Вернее сказать, она понимала, что не имеет права оставить дорогую, но такую беспомощную дочь (она бросала взгляд на мутный бульон, который Вера забыла даже посолить) и Шурика, совершенно сбрендившего из-за этой глупой неудачи – в этой точке Елизавета Ивановна оценивала ситуацию совершенно неправильно. Она полагала, что мальчик впал в депрессию. Другим образом она не могла объяснить себе того невероятного факта, что он ни разу не посетил её в больнице.

А Шурик всю неделю занимался сборами, прощаниями и проводами. Последние сутки он провёл в Шереметьево, помогал сдавать какой-то багаж. Потом наступил момент, когда Лиля поднялась по лестнице, куда уже не пускали, и он махнул ей в какой-то просвет на втором этаже, уже за границей, и она улетела, увозя от него свои кривые ножки и оттопыренные ушки.

Вечером, приехав домой, он наконец расслышал то, что не доходило до него всю неделю, – что у бабушки инфаркт и это очень опасно. Шурик ужаснулся своей собственной чёрствости: как мог он за неделю не выбрать времени, чтобы навестить бабушку? Но был уже вечер, приём в больнице окончен. Ночь он спал как убитый, сказалась бессонница последних дней. В восемь часов утра позвонили из отделения и сообщили, что Елизавета Ивановна умерла. Во сне.

Отъезд Лили так прочно соединился в его памяти со смертью, что даже возле гроба ему приходилось делать некоторое усилие, чтобы отогнать от себя странное смещение: ему всё казалось, что хоронят Лилю.

И вот наступает утро после похорон, когда поминки уже справлены, вся посуда вымыта соседками-помощницами, одолженные стулья разнесены по соседским квартирам, и остался чисто вымытый дом, до краев переполненный присутствием человека, которого уже нет.

Под стулом в прихожей Вера Александровна находит сумку, привезённую кем-то из больницы. В ней чашка, ложка, туалетная бумага и всяческие довольно безличные мелочи. И очки. Их делали на заказ в каком-то специальном месте чуть ли не два месяца. Они были так удачно подогнаны к материнским, от старости потемневшим глазам – не было на свете других глаз, которым подошли бы эти выпуклые, в серой моложавой оправе стёкла. С очками в руках Вера замирает: что с ними делать… Носильные вещи на полке шкафа – пуховый платок, халат, сшитый на заказ огромный бюстгальтер полны материнского запаха, чёрная вязаная шапочка тюрбаном, в изнанке которой, помимо запаха, запуталось несколько тонких белых волос, – куда всё это девать? Хочется убрать подальше, чтобы глаз постоянно не ранился, чтобы сердце не болело, но в то же время совершенно невозможно выпустить из рук остатки живого материнского тепла, скрытые в этих вещах.

Воздух комнаты весь во вмятинах от её тела. Здесь она сидела. Тут, на ручке кресла, лежал её локоть. Отёкшие ноги в старых туфлях на каблуках протёрли на красном ковре давнишнюю проплешину: полвека она постукивала ногой, обучая учеников правильному произношению. Но со времени недавнего переезда ковёр изменил своё положение, и на новом месте, у стола, где она притопывала своими увесистыми ногами, проплешина не успела образоваться.

Ужасная догадка посещает Веру: она всегда была дочерью, только дочерью. Мама отгораживала её от всех жизненных невзгод, руководила, управляла, растила её сына. Так получилось, что даже её собственный сын звал её не мамой, а Верочкой. Ей пятьдесят четыре года. А сколько на самом деле? Девочка. Не знающая взрослой жизни девочка… Сколько денег нужно на проживание в месяц? Как платить за квартиру? Где записан телефон зубного врача, с которым всегда договаривалась мама? И главное, самое главное: что же теперь с Шуриком, с его поступлением в институт? Мама, после скандального провала, собиралась устраивать его к себе, в педагогический…

Вера машинально крутила в руках материнские очки. Горка телеграмм лежала перед ней. Соболезнования. От учеников, от сослуживцев. Куда их девать? Выбросить невозможно, хранить глупо. Надо спросить у мамы – мелькнула привычная мысль. И ещё глубоко-глубоко таилась обида: ну почему именно сейчас, когда её присутствие так важно… Экзамены начнутся совсем скоро. Надо звонить кому-то на кафедру, Анне Мефодиевне или Гале… Все мамины ученики… И Шурик какой-то странный, деревянный – сидит в своей комнате, запустил оскорбительно-громкую музыку…

А Шурик никакой громкой музыкой не мог заглушить огромного чувства вины, которое перевешивало в нем саму потерю. Он находился в оцепенении, подобном тому, которое переживает куколка перед тем, как, треснув по намеченному природой шву, выпустить из себя взрослое существо.

Утром, в одиннадцатом часу Вера пошла в театр, а Шурик остался в своей комнате с меланхолическим Элвисом Пресли и с убийственной ситуацией, которую он уже не мог изменить: это он, Шурик Корн, не пошёл на экзамен, смалодушничал, закатился к Лилечке, не предупредил с ума сходящих женщин, довёл, собственно говоря, бабушку до инфаркта, потом по совершенно непостижимому легкомыслию и идиотизму даже не навестил её в больнице, и вот теперь она умерла, и в этом виноват лично он. Моральные реакции в нем происходили на каком-то биохимическим уровне – что-то менялось внутри, то ли состав крови, то ли обмен веществ. Он просидел так до вечера, прокручивая Пресли снова и снова, и к вечеру «Love me, baby» так прочно и глубоко записалось в сознании, что выплывало всю жизнь вместе с памятью о бабушке и о счастливом детстве, освещенном её присутствием. Он был любимым внуком и любимым учеником Елизаветы Ивановны, но также и жертвой её прямолинейной педагогики: с ранних лет он был приучен в мысли, что он, Шурик, очень хороший мальчик, совершает хорошие поступки и не совершает дурных, но уж если дурной поступок вдруг случится с ним, то следует его немедленно осознать, попросить прощения и снова стать хорошим мальчиком… Но не у кого, не у кого было просить прощения…

Вера пришла из театра к вечеру, они поели вчерашней еды, оставшейся от поминок, и он сказал:

– Пойду пройдусь.

Был понедельник. Вера хотела было попросить его остаться. Она чувствовала себя такой несчастной. Но для полноты её несчастья надо было, чтобы он ушёл и оставил её одну. И она не попросила.

Матильду Павловну Шурик застал озабоченной: утром она получила телеграмму о смерти своей деревенской тётки и собиралась назавтра ехать в Вышний Волочок. Отношения с тёткой у неё с детства были неважные, и теперь ей было неловко, что она её мало любила, не жалела и всё, что могла теперь сделать, – устроить богатые поминки. С утра она уже пробежалась по окрестным магазинам, закупила столичной колбасы и майонеза, водки, селедки и любимого народного лакомства – кубинских апельсинов. Шурик с порога сказал ей о смерти бабушки – она всплеснула руками:

– Ну надо же! Пришла беда – открывай ворота!

Увидев Шуриково горестное лицо, она наконец заплакала о своей тётке, несчастливой завистливой женщине с тяжёлым характером. Заплакал и Шурик. Незатейливая Матильда Павловна тут же сорвала железную бескозырку с тёплой бутылки и разлила в стопочки.

Слезы, водка, грубо нарезанная нечищенная селедка, от вида которой Елизавета Ивановна пришла бы в негодование, – всё шло одно к другому. Они выпили деловито по рюмке водки, и Шурик выполнил свой мужской урок добросовестно и с пылом, и почему-то это принесло облегчение и ему, и Матильде, и в нем даже промелькнуло смутное ощущение хорошего поступка хорошего мальчика – ну не странно ли…

И Матильду, излившую полдюжины слёз по чужому поводу, тоже отпустило. Теперь перед ней во весь рост встала кошачья проблема: на кого их оставить… Соседка её, милая многодетная инженерша, которая иногда присматривала за её кошками, уехала с детьми в пансионат, другая подруга, художница, была астматик, от кошачьего духа у неё немедленно начинался приступ. Прочие кандидатуры в этот момент по тем или иным причинам отпадали: кто болен, кто далеко живет. Про Шурика она как раз и не подумала, но он сам вызвался принять на себя заботу о кошачьей семье.

Эти чёрные кошки, Дуся, Константин и Морковка, приходящаяся своей матери одновременно и внучкой, были человеконенавистниками, но для Шурика по

неведомой причине делали исключение, принимали его приветливо и даже втягивали когти, садясь к нему на колени. Матильда немедленно выдала Шурику ключ и несложные инструкции.

Наутро Шурик, по просьбе Матильды, проводил её до поезда, потом поехал в университет и забрал документы. Он собирался отвезти их в педагогический, куда приём документов ещё не закончился, но когда он получил на руки свои бумаги, он понял, что не хочет видеть никого из бывших бабушкиных сослуживцев и вообще не хочет ни в какой педагогический. Ни за что. И он отвёз документы в первый попавшийся институт, поближе к дому. Это была Менделеевка, в пяти минутах ходьбы.

Потом он зашёл в магазин «Рыба» на улице Горького, купил два килограмма мелкой трески. Умные кошки, как три египетские статуэтки, сидели в прихожей чёрными блестящими столбиками. Константин подошёл к нему, склонил лакированную голову и легко пнул его лбом в ногу.

11

Полнейшая незаинтересованность Шурика в результатах принесла прекрасные плоды. Без особой подготовки он сдал прилично и математику и физику и химию. Везение его было прямо-таки сверхъестественным: на экзаменах он получал именно те вопросы, которые накануне просматривал. Двадцатого августа он нашёл себя в списках поступивших.

Институт называли непочтительно «менделавкой». Считалось, что он хуже нефтяного и хуже института тонкой химической технологии, и даже хуже института химического машиностроения. Зато у него была слава либерального учебного заведения: администрация мягкая, комсомольская организация слабая, кафедра общественных наук, имевшая, например, в университете огромный вес, здесь занимала скромное место, и партийное начальство, хотя, конечно, руководило, но не вполне сидело у всех на голове.

Шурик не мог, по неопытности, оценить достоинств либерализма, он просто ходил в большом потоке на лекции, писал конспекты и крутил головой, приглядываясь к однокурсникам и к самому процессу обучения, столь отличному

от того, что знал он по своему школьному опыту.

Начался огромный курс по неорганической химии, с лекциями, семинарами, лабораторными работами. Лаборатории очень ему понравились. Сначала учили простым вещам: как работать с пробирками, как согнуть на газовой горелке стеклянную трубочку, как перелить раствор и отфильтровать осадок. Было своеобразное волшебство в мгновенном потеплении пробирки при сливании двух холодных растворов, в изменении цвета или в неожиданном превращении прозрачной жидкости в синюю студенистую массу. Все эти мелкие события имели своё строго научное объяснение, но Шурику казалось, что за любым объяснением остаётся неразгаданная тайна личных отношений между веществами. Того и гляди выпадет в осадок философский камень или какая-нибудь другая алхимическая мечта средневековья.

На лабораторных работах он оказался из числа самых неумелых. Зато никто как он не удивлялся и не радовался маленьким химическим чудесам, которые постоянно происходили прямо в руках.

Большинство студентов пришли учиться химии не по той единственной причине, что институт находится возле дома. Они в своей химии уже насобачились, ходили в кружки, участвовали в олимпиадах. Помимо любителей химии было также довольно много евреев, пролетевших с университетом, неудавшихся физиков и математиков с высоким интеллектом и неудовлетворёнными амбициями. Либерализм Менделеевки сказывался, между прочим, и в том, что туда принимали евреев. Шурика с его неопределённой фамилией многие принимали за еврея, но он к этому ещё со школьных времён привык и даже не пытался протестовать.

Студентов для лабораторных занятий разбили на группы и подгруппы, некоторые задания они выполняли вчетвером. Лучшим химиком в их подгруппе была Аля Тогусова, казашка на тонких недоразвитых ножках, сходившихся в единственной точке, в лодыжках. Зато своими маленькими умными ручками она играючи выполняла все задания так быстро, что остальные ещё не успевали прочитать методичку, а у неё всё было готово. Сказывалась её двухлетняя работа в заводской химической лаборатории до поступления в институт – Аля была «целевая»: химическое производство в Акмолинске выплачивало ей стипендию. Она всё схватывала на лету, и преподаватель практикума заметно выделял её среди прочих – как опытного солдата среди новобранцев.

Вторая девица называлась Лена Стовба. Её фамилия удивительно подходила к её внешности – красивому грубому лицу под русой чёлкой, закрывающей низкий лоб, к дельфиньему обтекаемому туловищу и плотным ровным ногам с широкими лодыжками. Молчаливая и неприветливая, все перерывы она проводила под лестницей, куря одну за другой дорогие сигареты «Фемина». Известно было, что она из Сибири, и отец её большой партийный начальник. Обе девушки были провинциалки, Аля – восторженная, Лена – мрачная и недоверчивая. Она подозревала москвичей в каких-то тайных грехах, всё пыталась их вывести на чистую воду. Обе они жили в общежитии.

Зато третьим в их подгруппе был московский мальчик Женя Розенцвейг, с которым Шурик сразу же подружился. Новый приятель был вундеркинд, недотянувший до мехмата по национальной инвалидности. Он был рыжеватый, веснушчатый, не совсем ещё оформившийся и очень милый. На него была вся надежда по части математики. Дело было в том, что самым тяжёлым экзаменом первой сессии считалась не беззаконная и своенравная химия, а курс математического анализа, логичный и ясный.

Курс этот читал маленький свирепый человек со встрёпанной шевелюрой и низко сидящими на бугристом носу очечками. Было известно, что на экзаменах ему лучше не попадаться – ставит одни тройки, да и то не с первого раза. Розенцвейг, считавший себя в математике большим специалистом, взялся всех подготовить. Все четверо они набивались в маленькую Шурикову комнату, и Женя их обучал хитрой науке математике.

Время от времени к ним заглядывала Вера Александровна и нежным немощным голосом спрашивала, не хотят ли они чаю… И она приносила чай: на подносе стояли четыре чашки, каждая на своём блюдце, а на тарелочке с вырезными листьями и цветами лежали сухари, а сахарница была определённо серебряная, потемневшая – её бы зубным порошком потереть, блестела бы как новенькая…

12

Аля Тогусова была дочерью русской ссыльной и вдового казаха. Её мать, Галина Ивановна Лопатникова, попала в Казахстан ещё до войны четырёхлетним ребёнком. К знаменитому делу об убийстве Кирова был причастен каким-то

боком её отец, партийный деятель самого малого ранга. Отец сгинул в тюрьме, мать вскоре умерла. Родителей своих Галина плохо помнила, семи лет её поместили в спецдетдом, и вся жизнь её была сплошная каторга и равнодушное выживание. Всё детство она болела. Но, странное дело, сильные дети умирали, а она, слабенькая, выживала. Как будто болезни, поселяясь в ней, дохленькой, не могли набрать из неё нужных соков и сами собой в ней умирали, а она всё жила. Из детского дома её определили в ремесленное училище, в штукатуры, но тут у неё вспыхнул туберкулез, и она опять начала умирать, но, видно, смерть побрезговала её немощными косточками, и процесс остановился, каверна зарубцевалась. Вышла из больницы, пошла в уборщицы на вокзал. Спала в общежитии, на одной койке с другой девушкой, тоже из ссыльных.

Когда Тогус Тогусов, сорокалетний сцепщик из Акмолинского депо, после смерти жены взял её к себе в дом, положение её отчасти изменилось к лучшему: ей дали постоянную прописку. Остальное было всё то же: голод, холод, да и работы прибавилось. Русская жена Тогуса оказалась неумелой и плохо приспособленной к домашней жизни: детдомовское детство приучило её к нищенской пайке, трусливой кротости и терпению – даже сварить супа она не умела. Умела Галина только тряпкой возить по вокзальному заплеванному полу. А уж с подрастающими Тогусовыми сыновьями совсем не могла она управиться, так что пришлось отправить их к отцу, в далекий Мугоджарский район.

Казахская родня считала Тогуса человеком пустым, женитьба его на русской девушке это мнение окончательно утвердила. Да и сам он был несколько разочарован: не родила новая жена беловолосую девочку, как ему хотелось, получилась чёрная, узкоглазая, совсем казашка. Назвали Алия. Зато повезло Тогусу в другом – вскоре после рождения Али его взяли в проводники. Большие взятки платили за такие места. С первых лет открытия Туркестано-Сибирской железной дороги казахов потянуло к этой новой профессии, в которой осуществлялся идеальный переход от кочевой жизни к оседлой.

Счастливый в своих железнодорожных странствиях, разбогатевший на обычной в этом деле спекуляции водкой, продуктами, мануфактурой, Тогус завёл себе ещё одну семью в Ташкенте и несколько временных подруг по всем своим маршрутам. Изредка приезжал он в Акмолинск, оставлял то полбарана, то отрез дорогого шёлка, то невиданных конфет дочке и исчезал на месяцы. Пожалуй, можно было бы считать, что он вообще ушёл от Галины, если бы та умела об этом задуматься. Но думать она не умела. Для этого нужны были внутренние силы, а их у неё хватало только на самые маленькие мысли о еде, о худой обуви,

о топливе. И уж, конечно, ни на какую любовь сил у неё не было, как не было возле неё никогда ничего такого, что могло бы эту любовь привлечь. Дочка Аля вызывала в ней лишь слабенькое шевеление чувств. Девочка, не в мать, была слишком активная, слишком теребила её, усталую, и она ещё сильнее уставала от любви, которую девочка своими цепкими ручками из неё выманивала.

Последние два лета, пока Тогус ещё приезжал в Акмолинск более или менее регулярно, Алю отправляли к казахскому деду, который всю свою жизнь перемещался по степям между Мугоджарскими горами и Аралом, по старому таинственному маршруту, соотнесённому со временем года, направлением ветра и ростом травы, вытаптываемой проходящими отарами. Острая сквозная боль в животе, заскорузлое от кровавого поноса белье, вонь юрты, едкий дым, старшие дети – злые, некрасивые – за что-то её колотят, дразнят… Об этом Аля никогда никому не рассказывала, так же как и её мать, Галина Ивановна, не рассказывала ей о своём детдомовском детстве…

Ссыльных после смерти Сталина начали понемногу отпускать. Галина Ивановна могла бы вернуться в Ленинград, но там у неё никого не было. А если кто и был, то она об этом не знала. И куда ей было перебираться на новое место? С годами она и здесь хорошо устроилась: одиннадцатиметровая комната на окраине Акмолинска, у железнодорожного переезда, кровать, стол, ковёр – всё добро от мужа, да и работа уборщицы на вокзале, где было своё золотое подспорье – пустые бутылки от щедрых рук проезжающих.

Алю, пока она не пошла в школу, мать брала с собой на вокзал, и там, в зале ожидания, она садилась на корточки и жадно разглядывала людей, которые прибывали волнами, а потом куда-то исчезали. Сначала она бессмысленно пялилась на них и видела лишь безликое стадо вроде того овечьего, в казахской степи, но потом стала различать отдельные лица. Особенно привлекательны были русские люди – с другим выражением лиц, иначе одетые, в руках у них были не узлы и мешки, а портфели и чемоданы, а обувь у них была кожаная и блестела, как вымытые калоши. Среди их мужского большинства иногда мелькали и женщины – не в платках и телогрейках, а в шляпах, в пальто с лисьими воротниками и в туфлях на каблуках. Они были русские, но другие, не такие, как её мать.

Многие часы провела маленькая Аля на вокзале в состоянии углублённой рассеянности, как буддийский созерцатель мудрого неба или вечнотекущей воды. Она неумела ни задать вопроса, ни ответить, одно только взлелеяла она в

себе, сидя на корточках возле мусорной урны: однажды она наденет на себя туфли на каблуках, возьмет в руку чемодан и уедет отсюда куда-то, неизвестно куда… в другую жизнь, которой она дерзко возжелала. Может, говорила в ней та самая кровь, которая погнала её отца в путаницу железнодорожных веток, в густое человеческое месиво, в сложный смрад перекалённого железа, сырого угля, вагонных загаженных сортиров, где всё было по нему, как на заказ, жизнь, полная разнообразными возможностями – выпить дорогого коньяка с военным, отодрать за бесплатный проезд безбилетную женщину, сшибить бешеную деньгу наврать с три короба, а иногда и покуражиться над бесправным пассажиром… Десять лет праздновал свою железнодорожную удачу Тогус Тогусов, а на одиннадцатый его напоили, ограбили и сбросили с поезда двое лихих людей, которых он подсадил к себе в проводницкое купе на ночной перегон от Ургенча до Коз-Сырта. Дорогих конфет Аля больше не видела лет десять.

Мать отвела её в школу, и в первые годы учёбы она ещё не усвоила никакой связи между выходящими на платформу Акмолинска особенными и счастливыми людьми и кривыми палочками, которые она нехотя выводила в тетради, но в конце второго класса её как осенило: она стала учиться страстно, яростно, и способности её – малые или большие, значения не имело – напрягались постоянно до последнего предела, и предел этот расширялся, и с каждым годом она училась всё лучше и лучше, так что перешла в десятилетку, хотя почти все девочки после седьмого класса устроились ученицами на завод или пошли в ремесленное училище.

Школу она закончила с серебряной медалью. Химичка, Евгения Лазаревна, классный руководитель, ссыльная москвичка, тоже осевшая в Казахстане, уговаривала Алю ехать в Москву, поступать в университет, на химический факультет.

– Поверь мне, это такой же редкий талант, как у пианиста или у математика. Ты структуру чувствуешь, – восторгалась Евгения Лазаревна.

Аля и сама знала, что мозги её окрепли, глазная память, позволявшая её деду с беглого взгляда в изменившей очертание отаре распознать пропажу одной-единственной овцы, принимала в себя отпечатки химических формул, их разветвлённые структуры, кольца и побеги радикалов…

– Нет, не сейчас, через два года поеду, – твёрдо сказала Аля и объяснениями не побаловала.

Евгения Лазаревна только рукой махнула: за два года всё потеряется, по ветру пойдёт…

Галина Ивановна стала к тому времени инвалидом: одна нога в колене не гнулась, вторая еле ковыляла. Аля пошла на производство, правда, не в цех, а в лабораторию. Евгения Лазаревна устроила к своей бывшей ученице. Два года Аля работала, как каторжная, тянула полторы ставки, по двенадцать часов в день. Накопила денег на билет, купила себе синюю шерстяную кофту, чёрную юбку и туфли на каблуках. Ещё сто рублей было припрятано на запас. Но главное было не это: кроме двухлетнего рабочего стажа было у неё направление на учёбу от родного завода, правда, не в университет, а в менделеевский институт, на технологический факультет. Она была теперь «национальный кадр». Мать, только что оформившая инвалидную «вторую группу» по костному туберкулезу, просила её остаться, поступать здесь, в Акмолинске, в педагогический институт, раз уж такая охота к учёбе приперла. Она уже собралась умирать и обещала долго дочку не задерживать. Но Аля этого просто не слышала.

В туфлях на каблуках, на босу ногу, с чемоданом, набитым учебниками, она села в проходящий поезд. Пятки она растёрла жесткими задниками до крови ещё по дороге на вокзал. Но это не имело значения: к себе она была ещё более безжалостна, чем к матери.

Ещё в поезде она приняла твёрдое решение никогда больше не возвращаться в Казахстан. Москвы она ещё не видела, но уже знала, что останется там навсегда.

Ни мечте, ни воображению не удалось дотянуться до невиданного блеска живой столицы. Казанский вокзал, средоточие суеты, сутолоки и грязи, презираемая москвичами клоака города, показался Але преддверием рая. Она вышла на площадь – великолепие города поразило её. Спустилась в метро и остолбенела: рай оказался не на небе, а под землей. Она доехала до «Новослободской», и цветные стёклышки жалких витражей подземной станции оказались самым глубоким художественным переживанием её жизни. Полчаса, обливаясь благоговейными слезами, простояла она перед сияющим панно, прежде чем выйти на свет Божий. Но поверхность поначалу её разочаровала: от

беломраморного дворца разбегались во все стороны мелкие и незначительные домики, не лучше, чем в Акмолинске. И пока она оглядывала невзрачный перекресток, вдруг откуда-то повеяло сладким хлебом также сказочно и празднично, как от цветного стекла.

Булочная была напротив, наискосок от метро. Старый одноэтажный дом. Пошла по волне запаха. Внутри сверкал сине-белый кафель, и это тоже было великолепие. Булочная и в самом деле была хороша, принадлежала когда-то Филиппову, в подвале сохранилась пекарня, и даже работал старик-пекарь, начинавший до революции мальчишкой при печах…

Внутри булочной стоял такой дух, что, казалось, воздух этот можно откусывать и жевать. И хлеба было столько, что глаз не вмещал. Он был невиданный, и Аля сначала подумала, что стоит он так дорого, что ей не купить. Но стоил он обыкновенную цену, как в Акмолинске. Она купила сразу калач, калорийную булочку и ржаную лепешку. Надкусила, хотя и жаль было повредить красоту. С калача посыпалась мука, такая тонкая и белая, какой в Казахстане она не видывала. Ничего вкуснее этого хлеба она в жизни не знала…

Останавливаясь каждые десять шагов, она доволочила тяжеленный чемодан до института. У неё быстро приняли документы и дали направление в общежитие. Она с трудом его отыскала – в районе Красной Пресни, довольно далеко от метро. Управившись с делами заселения, получив койку в четырёхместной комнате, она заткнула ненавистный чемодан под железную кровать и кинулась на Красную Площадь, смотреть на Кремль и Мавзолей Ленина, Мекку и Каабу этой части света.

Это был величайший день её жизни: три чуда света открылись ей разом. Душе её предстала святыня искусства, выполненная из цветных стёклышек пьяными исполнителями по эскизам бессовестных халтурщиков, телу – святыня незабываемого вкуса (освоители целинных земель, пришлые хлеборобы из ссыльных и призванных на подвиг комсомольцев хавали серый, сырой, землистый), а дух бессмертный поднял её на божественные высоты возле зубчатой стены великого храма. Аллилуйя!

Кто посмел бы разуверить её в тот день? Кто бы мог предложить большее? Возможно, соседки по общежитию не разделили бы восторга, даже если бы она с ними поделилась переживаниями. Но она хранила своё великое в тишине души.

Всё, что она задумала, получилось. Она сдала экзамены гораздо лучше, чем нужно было для зачисления. Ей дали в общежитии койку и тумбочку в комнате на четверых, с уборной и душем на этаже, с общей кухней и газовой плитой. Всё это принадлежало ей по праву. Поверх пробирок и колб она смотрела на своих однокурсников. Все они были прекрасны, как иностранцы, – красивые, нарядные, упитанные. Лучше всех был Шурик Корн. Потом она попала к нему в квартиру. Это был высший этаж рая. Теперь Аля твёрдо знала, что всего можно добиться. Надо только работать. И работала. И была ко всему готова.

13

После смерти матери Вера резко постарела и одновременно ощутила себя сиротой, а поскольку сиротство есть состояние по преимуществу детское, она как будто поменялась местом с сыном-студентом, уступила ему старшинство. Все житейские проблемы, прежде решаемые неприметным образом Елизаветой Ивановной, легли теперь на Шурика, и он принял это безропотно и кротко. Мать смотрела на него снизу вверх и, прикоснувшись прозрачной рукой к его плечу, рассеянно говорила:

– Шурик, надо что-то к обеду… Шурик, где-то была книжечка за электричество… Шурик, тебе не попадался мой синий шарф…

Всё в форме неопределённой, недовысказанной.

Свою бухгалтерскую зарплату она, как и прежде, складывала в гобеленовую коробочку на столике Елизаветы Ивановны. Шурик первым обнаружил, что денег этих совершенно недостаточно, и уже с половины сентября он начал давать уроки прежним бабушкиным ученикам. Ещё была стипендия.

Вернувшись из института, он заходил в ближайший магазин, приносил пельмени, картошку, яблоки, без которых мама жить не могла, оплачивал счета за газ и электричество, находил шарф, проскользнувший в щель между стеной и галошницей…

Раз в неделю покупал мелкую треску, относил к Матильде… Ждал писем от Лили. Их всё не было.

Приближался Новый год, первый Новый год без Елизаветы Ивановны, без Рождественского праздника, пряничного гаданья, без бабушкиных щедрых и неожиданных подарков и даже, кажется, без ёлки… Во всяком случае, Вера не знала, откуда брались ёлки, кто их приносил в дом и каким образом колючее дерево оказывалось в хранимой Елизаветой Ивановной старой крестовине, закреплённым с помощью набора клинышков, которые тоже сберегались в специальной коробке.

Отсутствие Елизаветы Ивановны по мере протекания недель и месяцев ощущалось всё острее, особенно в эту предновогоднюю неделю, которая в прежние годы была радостно-напряжённой, подготовительной – почти каждый день приходили ученики, наводили лоск на французские стишки и песенки, а Вера вечерами, придя с работы, садилась за инструмент, аккомпанировала, вспоминая незабвенного Александра Сигизмундовича, и непроизвольно встряхивала головой в конце каждой музыкальной фразы, как делал некогда он, дети громко и фальшиво пели, Елизавета Ивановна, строго натянув верхнюю губу на шаткий зубной протез, постукивала носком туфли о старый ковёр, в горячей духовке досушивались цукаты из апельсинов и яблок, дом благоухал корицей и апельсинами, к которым примешивался праздничный запах мастики для полов…

– Кстати, Шурик, а где записан телефон Алексея Сидоровича?..

Алексей Сидорович был полотёр, приглашаемый Елизаветой Ивановной с незапамятных времён дважды в год, под Рождество и под Пасху, но телефона у него не было, жил он в Томилино, она посылала ему открытку, назначала время прихода. Адрес же держала в голове, в записной книжке его и не было…

Декабрь, тёмный и медлительный, Вера с детства плохо переносила: всегда простужалась, кашляла, впадала в депрессию, которую в те годы называли попросту унынием. Обычно Елизавета Ивановна ещё с ноября усиливала обыкновенные заботы о дочери, давала ей какую-то бурду из листьев алоэ с медом, заваривала то подорожник, то девясил, по утрам ставила перед ней рюмку кагора…

Этот декабрь, первый без матери, оказался для Веры особенно тяжёлым. Она много плакала и, что удивительно, даже во сне. Просыпаясь, она едва собиралась с силами, чтобы справиться с этими самочинными слезами. Она и на работе вдруг, ни с того ни с сего, начинала точить слёзы, а в горле возникал душный комок. Она всё худела и худела, так что юбки крутились вокруг тощих бедер, а молоденькие артистки приставали с вопросами, на какой такой диете она сидит. Дело было, конечно, не в диете, а в щитовидке, которая с юности была увеличена, а теперь выбрасывала в кровь огромные дозы гормона, отчего Вера чувствовала слабость, плакала, не находила себе места. А поскольку симптомы болезни во всех пунктах совпадали с обыкновенными симптомами её характера – слезливостью, мнительностью, лёгкой утомляемостью – то болезнь долго не распознавали. Приятельницы намекали ей, что вид у неё не блестящий, выглядит она утомлённой.

Может быть, один только Шурик чувствовал, что красота её, поблекшая, бедненькая, как старая фарфоровая чашка или крылышко отлетавшей свой век бабочки, делалась всё более трогательной…

Шурик её обожал. Он был воспитан предусмотрительной Елизаветой Ивановной в твёрдом убеждении, что мама его человек особенный, артистический, прозябает на мизерной работе, никак не соответствующей её уровню, исключительно по той причине, что творческая работа требует от человека полной отдачи, а Веруся выбрала для себя другую долю – растить его, Шурика. Пожертвовала для него артистической карьерой. И он, Шурик, должен это ценить. И он ценил.

Теперь, после ужасной истории с бабушкой, он панически боялся за мать. Произошла окончательная смена ролей – Вера поставила сына на место своей покойной матери, а он легко принял эту роль и отвечал за неё если не как отец за ребёнка, то как старший брат за младшую сестру, и заботы Шурика о ней были не отвлечёнными, умозрительными, а вполне практическими, отнимающими у него много времени.

Шурику приходилось трудно. Несмотря на лёгкое поступление в институт, учение оказалось для него тяжёлым. Он был, вне всякого сомнения, гуманитарным мальчиком, и то проворство, с которым он усваивал иностранные языки, никак не распространялось на прочие предметы. К концу первого семестра он накопил много недопонятого во всех науках, с трудом сдавал зачёты и постоянно пользовался помощью Али и Жени. Они его подгоняли, а то и

просто делали за него задания. Хотя сессию он ещё не завалил, но был полон на этот счёт дурными предчувствиями. Единственный предмет, который шёл у него прекрасно, был английский. Недоразумение, послужившее косвенной причиной смерти Елизаветы Ивановны, как будто имело рецидив: его опять по ошибке зачислили не в ту языковую группу. Увидев свою фамилию в группе «английский – продолжающие», он даже не пошёл в деканат объясняться. Стал ходить на занятия, и преподавательница только в конце семестра обнаружила, что один из её студентов по ошибке за три месяца освоил полный курс школьного английского и отлично справился с новым объемом.

В прежние времена Вера в сопровождении Шурика неукоснительно посещала лучшие театральные премьеры и хорошие концерты. Теперь, когда она предлагала Шурику куда-нибудь с ней выйти, он иногда отказывался: у него не хватало времени. Приходилось много заниматься, особые нелады были с химией – она казалась корявой, ветвистой, лишённой логики…

Всё у Шурика поменялась разом – и в главном, и в мелочах. Одно только осталось неизменным с прошлого года – понедельничная Матильда. Впрочем, понедельники распространялись иногда и на другие дни недели. Поскольку Вера тяготилась одинокими вечерами, Шурик, подрёмывая над учебниками, дожидался одиннадцати, когда мама принимала своё снотворное, и, оставив в своей комнате маленький свет и тихую музыку, в одних носках, с ботинками в руке, открывал входную дверь, не скрипнув смазанными специально петлями, не щёлкнув замком, надевал ботинки уже на лестничной клетке и катился вниз, бегом по лестнице, потом через двор, через железнодорожный мостик, к Матильде…

Он открывал её дверь своим ключом, который был доверен ему не как знак их любовной связи, а как свидетельство дружбы, с того самого дня, как Матильда в первый раз оставила на него кошек. Сквозь дверной проем он видел широкую белую постель, лежащую на пышных подушках Матильду в белой просторной рубахе, с мягко-заплетённой ночной косой на плече, с пухлой книжкой в газетной обертке, в окружении трёх чёрных кошек, спящих в самых причудливых позах на её раскинутом теле. Матильда улыбалась обратному кадру – густорумяному юноше в короткой спортивной куртке, со снегом в густых волосах. Она знала, что он всю дорогу бежал, как зверь на водопой, и знала, что бежал бы не двадцать минут, а всю ночь, а, может, неделю, чтобы поскорее её обнять, потому что голод его был молодой, зверский, и она чувствовала готовность ответить ему.

Иногда ей приходило в голову, что мальчика можно было бы немного подобразовать, потому что он и в постели всё продолжал бег к ней, и не было времени для медлительной нежности, для неги, для тонкой ласки. Он же, добежав, внезапно отрывался от неё, ахал, глядя на часы, быстро одевался и убегал. Она подходила к окну и видела, как он проносился через двор на улицу, потом мелькал в просвете между домами…

«К маме спешит, – усмехалась она добродушно. – Не привязаться бы старой дуре…»

Боялась привязанности, боялась расплаты. Привыкла, что за всё приходится расплачиваться.

14

Новый год собирался быть печальным: так его задумала Вера Александровна. Она настроилась на благородный минор, достала альбом Мендельсона и заранее разобрала Вторую сонату. Она не была слишком высокого мнения о своём исполнительском уровне, но единственный зритель, на которого она в новогодний вечер рассчитывала, был самым доброжелательным на свете.

Актёрская душа её не умирала. Старый спектакль её жизни развалился, отыгрался, и она стала собирать себе новый из подручного материала, из подбора, как говорили в театре. К Мендельсону шло чёрное платье, закрытое, но с прозрачными рукавами, пристойное для исполнительницы. И чёрное ей шло. На мещанские традиции – что в чёрном Новый год не встречают – наплевать. Стол будет скромным: никаких маминых пирожков поросячьего вида, совершенно одинаковых, как будто машинного производства, никакого семейного крюшона в серебряном ведерке стиля а-ля рюсс… Кстати, куда оно делось, надо Шурика спросить… Маленькие бутербродики… Ну, тарталетки купить в буфете ВТО. Апельсины. И бутылка сухого шампанского. Всё. Для нас двоих.

Повешу мамину шаль на спинку кресла, и пусть Стендаль раскрытый лежит, как остался после того, как её увезли в больницу. И очки… А накроем на троих. Да, для нас троих.

Вере и в голову не приходило, что у Шурика могут быть какие-то собственные планы. Ему на предстоящем празднике, как всегда, отведено было сразу несколько ролей: пажа, собеседника и восторженной толпы. Ну и, разумеется, мужчины, в высшем смысле. В самом высшем смысле.

А Шурику было не до праздников. Рано утром тридцать первого он отправился сдавать зачёт по неорганической химии. Он постучал в дверь аспиранта Хабарова как раз в тот момент, когда тот хлопнул с лаборантом по мерному стограммовому стаканчику правильно разведённого казённого спирта.

Это была уже третья Шурикова попытка сдать зачёт, и, не сдай он его сегодня, к экзаменационной сессии его бы не допустили. Он неуверенно стоял в дверях. Аля, наставница и болельщица, выглядывала из-за его спины.

– А тебе чего, Тогусова? – спросил Хабаров, давно поставивший ей зачёт за большие достижения безо всякой сдачи.

– А так, – смутилась Аля.

– Ох, делать вам нечего, ребята, – добродушно вздохнул Хабаров. Стаканчик как раз усвоился организмом, всё внутри и снаружи потеплело, подобрело. Хабаров был начинающим алкоголиком, и Шурик случайно попал в лучшие минуты его волнообразного состояния. Задачку Шурик решил сходу и неправильно. Хабарову это показалось смешным, он захохотал, дал другую и вышел в подсобную комнату к своему верному лаборанту, чтобы повторить. Минут через пятнадцать вернулся, обнаружил забытого им Шурика с решённой Алей задачей, расписался в зачётке и подмигнул, помахивая пальцем:

– А ведь ни хера, Корн, не знаешь!

В коридоре Шурик подхватил Алю и закружил, смяв её старательную прическу:

– Ура! Поставил!

Аля вознеслась на седьмое небо – полный коридор народу, и все видели, как он подхватил её. Вот оно, яснейшее доказательство того, что сосредоточенный труд завоевания дал первые плоды. Его радость, обращенная к ней, её смятая

прическа всем показывали, что между ними что-то происходит. Сближение началось, и она готова была сколько угодно трудиться, чтобы завоевать свой главный приз.

Костистой ручкой она поправила съехавший набок пучок и суетливым движением прошлась по воротничку синей кофты, по подолу юбки, щипнула себя за чулок на икре, подтягивая его вверх.

– Ну, поздравляю, – жеманно повела плечиком.

В этот момент она была почти хорошенькой, отдалённо напоминала японку с глянцевого календаря, один из множества, в тот год добравшихся до России.

– Тебе спасибо огромное, – всё ещё сиял удачей Шурик.

«Пригласит», – решила она.

Почему-то ей втемяшилось, что если он сдаст зачёт, то непременно пригласит её к себе домой справлять Новый год. Все суетились уже несколько дней, сговаривались на складчину, закупали продукты, обсуждали, у кого лучше собраться. Особенно важно это было для тех, кто жил в общежитии: строгое начальство преследовало выпивки и всяческое безобразие, которое неизменно в этот день происходило. Всем немосквичам хотелось в этот день уйти в какой-нибудь настоящий московский дом.

Шурик перекладывал исписанные бумажки из карманов в портфель, а она стояла рядом и лихорадочно перебирала в уме, что бы такое сказать срочно, немедленно, чтобы заставить эту благоприятную минуту поработать на неё. Но ничего лучше не нашлось, кроме обыкновенного:

– А ты где справляешь?

– Дома.

И разговор замялся, и дальше из него ничего нельзя было выкрутить: навязываться Аля не хотела.

– Мне ещё ёлку надо купить, я маме обещал, – доверительно сообщил ей Шурик и добавил просто и окончательно:

– Спасибо тебе, Алька. Я бы без тебя не сдал. Ну, я пошёл…

– Да, и мне пора, – надменно кивнула Аля и ушла, ритмично покачивая начесом из грубых чёрных волос и мужественно сдерживая злые слёзы неудачи.

В общежитии шла боевая подготовка: Алины соседки гладили, что-то подшивали, красились немецкими красками из купленных совместно коробочек, смывали и накладывали заново румяна и тени. Они собирались на вечер в институт имени Патриса Лумумбы, но Алю с собой не позвали. Аля легла в постель, укрылась с головой одеялом.

– Ты что, заболела? – спросила Лена Стовба, ловя в зеркальце отражение своего круглого, как яйцо, глаза.

– Живот разболелся. Я к Корну собиралась, да, видно, не пойду, – поморщилась Аля. В животе, если вслушаться, и впрямь что-то происходило.

– А-а, – поплёвывая на тушь и сосредоточенно размазывая её щёточкой, отозвалась Лена, – он меня тоже звал, да я не хочу.

Аля прислушалась к животу – болит. Это и лучше даже. Интересно, зачем она врет? А может, не врет?

Стовба сидела в белой комбинации с разрезом впереди, обкрутив полной хорошей ногой ножку стула и старательно выпучивая глаза, чтобы не попала тушь. Она была из богатых, ей из дому посылали переводы, два раза приезжала мать, привозила продукты, каких и в Москве не видывали…

В начале десятого все ушли, оставив беспорядок, вывороченные из шкафа платья, включённый утюг, бигуди и ватки в карминовых и чёрных следах. И вот тогда Аля заплакала.

Поплакав немного, она утешилась всегдашним способом, немного себя приласкав. Груди у неё были маленькие, твёрдые, как незрелые груши. Живот,

раньше впалый, с выпирающими вертлугами и симфизом, теперь, на филипповском хлебе, стал ровненьким. Талия была тонкая, и всё остальное не хуже, чем у других, – сверху нежная замша, внутри скользкий шёлк.

Она встала, посмотрела на себя в пыльное зеркало: в лице её всё по отдельности было ничего, но собрано неряшливо, без внимания – глазки узкие, длинные, можно ещё удлинить, но стоят они немного близко. Нос капельку примят, как у отца, но не страшно. Вот расстояние между кончиком носа и верхней губой слишком маленькое. Она оттянула верхнюю губу, подсунув изнутри язык – так было бы лучше… Немецкие краски остались неприбранными, и она, не жалея чужого, навела себе брови враскос, глаз вставила в чёрную рамку… Стёрла, снова намазала. Всё-таки больше она походила не на пухленькую японку с календаря, а на её отца-самурая…

Потом стала примерять чужие платья. Здесь было принято меняться одеждой, носить вещи сообща, коммунально. Богатство девичье было довольно жалким, но для Али более чем достаточно. Даже несмотря не то, что стовбино ничего не годилось ни размером, ни ростом. Она перебирала блузки и платьишки с холодным глазом, без зависти. Вот такое она себе купит: вишнёвое, шёлковое, а в полоску – ни за что, узбечки базарные в полосках ходят. И ещё сапоги купит. Высокие. После Нового года ей обещали место уборщицы на кафедре. Заработает и купит…

Из зеркала смотрела на неё не то что бы красавица, но и не Аля Тогусова. Другое, новое лицо. Она себя едва узнавала. Монетки для автомата лежали в уголке в тумбочке. Напоследок она заметила флакончик с духами. Поболтала, надушилась. Назывались духи «Может быть». Она взяла двушки и пошла вниз звонить…

15

В начале одиннадцатого Вера Александровна закончила продуманную аранжировку аскетического стола. Он долго складывала салфетки, ещё мамой в прошлом году накрахмаленные, в сложную форму «птичий хвост», к основанию свечи прикрепила веночек, наскоро сплетённый из золотой и чёрной бумаги. Мрачно, зато торжественно. Под ёлочку, с большим трудом добытую Шуриком и

не успевшую даже оттаять, положила новогодний подарок для сына – тонкий шерстяной свитер-водолазку, который ей предстояло чинить и штопать много лет. Потом передумала и кликнула Шурика:

– Забирай подарок заранее! На Новый год хорошо что-нибудь новое надеть!

Шурик развернул:

– Класс! Сила!

Поцеловал мать и стащил с себя старый, голубой. Новый был тёмный, благородного цвета маренго, и Шурику очень понравился. У него тоже был заготовлен для мамы подарок – роскошная, на всю последнюю стипендию ночная рубашка, чудовище из хрустящего розового нейлона: тётки бились в очереди во дворе универмага, и он купил. Уже в те годы начало проявляться в нем это особое дарование – выбирать дорогие нелепые подарки, всегда некстати, всегда оставлявшие впечатление, что он дарит случайно завалявшуюся в доме вещь, чтобы сбыть с рук… Но Вера не успела ещё огорчиться, она свой подарок отложила до своего часа…

Закончив со столом, Вера заперлась в ванной комнате, чтобы произвести манипуляции для обретения если не молодости, то по крайней мере уверенности в том, что она сделала всё возможное для её удержания. В это время зазвонил телефон. Подошёл Шурик. Маму спрашивала её начальница, Фаина Ивановна. Узнав, что Вера Александровна дома, что праздник они справляют вдвоём, та сказала решительно:

– Прекрасно! Прекрасно! Позвоню позже.

Но позвонила она через час, и непосредственно в дверь. Большая и краснолицая, в заснеженной каракулевой шубе и в такой же шапке, она вошла, как безбородый Дед Мороз, переложивший подарки из заплечного красного мешка в две увесистые хозяйственные сумки.

Вера Александровна ахнула:

– Фаина Ивановна! Вот сюрприз!

Фаина Ивановна уже сбрасывала на Шуриковы руки тяжеленную шубу выпрастывала из распертых сапогов огромные ступни и поправляла липкие от лака волосы:

– Вот такой вам сюрприз! Принимайте гостя!

Она была так довольна своей авантюрой, что не заметила ни Шуриковых удивлённых бровей, ни лёгкого Вериного жеста в сторону сына – ничего, мол, не поделаешь… Ей и в голову не приходило, что сотрудница не обрадуется её приходу. Нагнувшись, она пошарила рукой в большой сумке и крякнула:

– Черт подери! Кажется, туфли забыла! Новые туфли, для наряду, для параду…

– Шурик, подай, пожалуйста, большие тапочки, – попросила Вера Александровна.

– Какие, Веруся?

В новом свитере, рослый, красивый, чисто выбритый, Шурик загораживал плечами дверной проем…

Да прилепить бы ему погоны, да десяток лет прикинуть…

Фаина Ивановна имела слабость – её неизъяснимо притягивали военные. Но своего собственного, для замужней жизни, ей не досталось, все только приходящие, временные, ненадёжные. А что в военном составляет самое его обаяние? Конечно, надёжность. А какая у любовника надёжность? Вот теперешний: дослужилась наконец Фаина до полковничьей большой звезды, до папахи, – и он, юркий до чрезвычайности, ходит к ней как на службу, два раза в неделю, но в руки не даётся. Вот и сегодня: объявил заранее, что жену с детьми отправляет к родителям, в Смоленск, на все праздники, а в восемь позвонил, сухо сказал, что дочка заболела, всё отменяется… Не придёт…

Фаина Ивановна треснула тарелкой об пол, испустила четыре злые слёзы и позвонила Вере Александровне. Потом собрала в сумки все свои новогодние заготовки, настоящую праздничную еду, даже и с пирожками, – не то что Верочкин художественный театр с полмаслинкой и листиком петрушки, – и предстала. И дома одной не сидеть, и бедной Вере – сюрприз. А для Фаины

Ивановны сюрпризом оказался Шурик, – ещё недавно его водили в шёлковой рубашечке с бантом в театр, иногда и с благородной бабушкой за ручку, а теперь – ни того ни другого: и маман умерла, и вместо смущенного мальчика – молодой бычок. Ещё молоком пахнет, а стати мужские: рост, плечи… В этом смысле Фаине тоже не везло – сама высокая, складная, а мужики всю жизнь доставались недомерки, хоть даже и полковники…

Фаина выгребала из сумки банки и свёртки, уставляла ими узенький кухонный стол и приговаривала:

– Ну до чего же хорошая мысль! Думаю, вы одни, я одна. Витьку-то я в Рузу в зимний лагерь сегодня отправила! Да кто нам нужен-то? Где у вас большое блюдо?

Шурик с энтузиазмом полез в буфет за блюдом. Ему всё нравилось: и материнская идея справить Новый год в печальных воспоминаниях, строго и благородно, и Фаинино намерение устроить великолепное изобилие…

Не успели они разложить принесённые пироги и салаты, как снова зазвонил телефон. Это была Аля Тогусова:

– Шурик! Я возле института. Представляешь, девочки уехали, ключи от комнаты увезли, а коменданта нет. Я домой попасть не могу… Ничего, если я зайду? – хихикнула она не вполне уверенно.

– Ну конечно, Аль, о чем ты говоришь? Тебя встретить?

– Да что я, дорогу не знаю? Сама приду…

Звонила Аля не от института, а от метро. Через десять минут она стояла в дверях. На этот раз ахнула Вера Александровна. В первую минуту ей показалось, что Лиля Ласкина приехала: маленькая, густо накрашенная девочка с подведёнными чуть не к ушам глазами… Шурик простодушно заржал:

– Ну ты и наштукатурилась, не узнать…

Она быстро сбросила старое пальто и предстала в чужом вишневом платье, утянутом широким поясом с наспех проковырянной лишней дырочкой, поправила заложенные в пучок жесткие волосы.

– Ну, ты просто японка, и всё… – ничего лучше Шурик и нарочно бы не придумал. Только того и хотелось казашке Але Тогусовой – походить на японку.

Пока они переговаривались в коридоре, Вера Александровна успела шепнуть Фаине Ивановне:

– Однокурсница Шуркина. Они вместе занимаются. Она отличница, из Казахстана. Ходила к нам в дом, они к сессии вместе готовятся.

– Ой, ради Бога! Я вас умоляю! Пачками будут липнуть, какой красавец! Ваша задача, Вера Александровна, с десяток годков его попридержать, рано не дать жениться. Мой тоже, тринадцать лет, а рост метр семьдесят. К восемнадцати до двух дорастёт. И девчонки уже звонят. А я думаю так, пусть гуляют, пока молодые…

Фаина Ивановна была умна, по-своему даже талантлива. Начинала кассиршей, доросла до главбуха. Авторитет её в театре был огромный, и директор, и завпост её побаивались. Были какие-то махинации, в которые Вера Александровна по скромности своего положения и по врождённой брезгливости порядочного человека не была вовлечена, но догадывалась: воруют… Но, несмотря ни на что, Вера испытывала своего рода почтение к начальнице: конечно, вульгарна, невоспитанна, но голова как счётчик, и ведь умна. Вот и теперь права совершенно: конечно, ранний брак может всю жизнь покалечить. Слава Богу, прошлогодняя девочка, Лиля Ласкина, уехала, а ведь не случись уехать, так и женился бы, дурачок…

– Парней-то ещё больше, чем девчонок, беречь надо, – прищёлкнула языком Фаина Ивановна, и Вера в душе с ней согласилась…

Старый год проводили чинно – выпили шампанского.

– А телевизор! Телевизор-то включить! – заволновалась Фаина Ивановна и поискала глазами телевизор. Телевизора не было.

– Как это? В наше время и без телевизора! – изумилась Фаина Ивановна.

Пришлось ей обойтись без Брежнева, без «Голубого огонька», без «Карнавальной ночи». В двенадцать бомкнули бабушкины настенные часы, – чокнулись. Пошла в ход большая Фаинина еда. Вера едва царапала вилкой, – испорчен был задуманный вечер. Глупо и бессмысленно горели свечи, пожухли ёлочные лампочки, потому что Фаина Ивановна с возгласом «Ненавижу потёмки!» зажгла на полную мощь люстру. Крепкой спиной она примяла ветхую шаль Елизаветы Ивановны, плюхнувшись в её кресло. Сдвинула в сторону пустой прибор, символизирующий бабушкино неявное присутствие. Ела Фаина с аппетитом, похрустывала цыплячьими косточками:

– У меня цыплятки всегда мягонькие, я их промариную сперва…

«Похожа на львицу, – впервые за двадцать лет знакомства заметила Вера Александровна. – Как это я раньше не замечала? Две складки поперек лба, глаза широко расставлены, нос тупой, широкий… И даже волосы назад зачёсаны, прикрывают звериный загривок…»

– А ты кушай, кушай, девочка, – Фаина Ивановна не озаботилась запомнить имя этой маленькой лахудрочки. Злость на полковника у неё не прошла, стала даже как будто сильнее, но и веселее. И мысль пришла в голову. – А где телефончик у вас?

Вышла в коридор, набрала номер. Домой она ему никогда не звонила, он даже и не знал, что у неё есть его домашний номер. Подошла женщина.

– Алло? Квартира полковника Коробова? Примите телефонограмму из Министерства обороны…

– Толь! Толь! – заверещал в трубку женский голос. – Телефонограмма из Министерства! Одну минуту!

Но Фаина Ивановна, не обращая внимания на отдалённое волнение собеседницы, продолжала:

– Командование поздравляет полковника Коробова с Новым годом и с повышением. С пятнадцатого января сего года он назначен начальником Магаданского военного округа. Секретарь Подмахаева.

И грохнула трубкой. А что? В театре живем! И настроение заметно исправилось.

– Да что же вы не кушаете? – Она и сама вдруг почувствовала прилив голода, положила Шурику на тарелку салату и кусок рыбы. – Вера Александровна! Что же вы ничего не кушаете? Тарелка пустая! Шурик, наливай!

Шурик взялся открывать вторую бутылку шампанского.

– Нет-нет, давай коньяку.

Она всё принесла: и коньяк, и конфеты.

Хоть бы все поскорее ушли, – изнывала Вера. – Остались бы вдвоём, вспомнили маму. Всё испорчено, всё испорчено. Нахальство, конечно, невероятное, вот так нагрянуть без приглашения, с чудовищной этой едой, от которой потом будет изжога, отрыжка, если не расстройство желудка…

Аля чокнулась со всеми, выпила. О, как её вознесло! Видели бы её акмолинские подружки… В Москве, в таком дому… В шёлковом платье… Шурик Корн, пианино, шампанское…

Прежде она никогда не пила. Когда предлагали, отказывалась. На заводе пьянство было повальное, она всегда боялась пьяных мужчин и знала, как это бывает: скрутят, юбку на голову, и тыркать… И полубратья в детстве, и мальчишки барачные несколько раз ловили. В лаборатории тоже, в прошлом году, на Первое мая устроили вроде застолья, а потом завхоз и старший лаборант Зоткин навалились в гардеробе… Но теперь ей было так хорошо, так сладко.

«Да живот-то у меня вот чего ныл, – догадалась она. – Вот оно, к чему все пьют, – сделала она вывод, отчасти ошибочный. – Девчонки говорили, что хорошо. Может, не врут… Какой день выпал. Я своего добуду…» – решила Аля и уставилась блестящими глазами на Шурика.

А Шурик кушал безмятежно: мало ли какие у кого планы… У него был свой собственный – на два часа на завтра, то есть уже на сегодня, он договорился с Матильдой. С утра сегодня она собиралась к подругам, а к вечеру должна была вернуться. Из-за кошек, конечно. Ну и Шурик собирался навестить её, отпраздновав с мамой Новый год печально и благолепно.

– Может, потанцуем? – предложила Аля тихонько.

– Да магнитофон в моей комнате. Что, принести? – Шурик был настолько же непонятлив, насколько Аля неуклюжа.

– Да пусть там, – покраснела Аля под взглядом насмешливой начальницы.

– Давай, – согласился Шурик и вытер рот о крахмальную салфетку, дотронуться до которой Аля не смела.

– Пусть, пусть потанцуют, – гнусным голосом сказала Фаина Ивановна, но никто этого не заметил.

Ребята ушли, а Фаина Ивановна разоткровенничалась, стала рассказывать Вере Александровне о заключении договоров с художниками, о проведении расходов хозяйственных по творческим статьям – чего та знать вовсе не желала.

В Шуриковой комнате не было места для танцев: там стоял диван, письменный стол, два шкафа, и оставался лишь узкий проход, в котором под щемящие звуки блюза Аля прильнула к Шурику всей своей худобой. Шурик удивился, как похожа она на ощупь на Лилю: хрупкие рёбрышки, твёрдая грудь… Только Лиля отплясывала, как цыганка, а эта топчется, сама себе на ноги наступая. Но если прижать её потеснее, то выясняется совершенно удивительное обстоятельство: тонкие ножки прикреплены где-то сбоку, и между ними такая зовущая пустота, такая распахнутая дорога открывается, и штучка эта, лобок, как будто висит в воздухе, и даже торчит немного вперед. Он подцепил подол платья, просто так, проверить из интереса, как это получается, и удивился: легко отодвинулась полоска трусов и палец попал прямо в тёплое дупло. И так ловко-ловко она как будто чуть-чуть подпрыгнула и плотненько на него наделась. Лёгкая, ничего не весит, как Лиля. Он застонал: Лиля… Никаких там ляжек, никакого лишнего мяса. Только оно одно, нужное… Совсем не так, как у Матильды, совсем другое… И блюз не мешал ничему, длился саксофонной нотой. И в ту минуту, когда Шурик

прислонил эту невесомость к шкафу и выковырял тугие пуговицы, и уже всё само собой пошло… раздался требовательный возглас из коридора:

– Шурик, на минуточку!

Звала не мама, звала Фаина Ивановна.

– Да, да, сейчас, – отозвался Шурик, дёрнулся, всё нарушил, снял с себя чужую девочку. Тёмный шёлк подола электростатически прилип к её груди, и он в первый раз подивился, как затейливо всё устроено: в слабом свете настольной лампы, отвёрнутой к стене, на него смотрели красные лепестки выпуклого цветка…

– Я сейчас вернусь, – хрипло шепнул Шурик и начал заталкивать пуговицы в тесные петли новых брюк.

В прихожей одевалась Фаина Ивановна. Она уже впялилась в сапоги. Похудевшие сумки смирно лежали на полу, как собаки у хозяйских ног.

– Шурик, посади Фаину Ивановну в такси, – попросила мама.

– Ага, – кивнул Шурик. Деваться было некуда.

– У нас такой двор тёмный. Пусть уж он меня до подъезда проводит и на той же машине обратно.

– Конечно, конечно, – радовалась освобождённая Вера.

Время было самое застольное, начало третьего. Машину остановили сразу же. По забавному совпадению, дом Фаины Ивановны стоял как раз напротив Алиного общежития. Фаина Ивановна расплатилась и отпустила машину, к некоторому недоумению Шурика, который всё ещё находился под магнетическим воздействием штучки, обнаруженной под вишневым подолом.

Никакого обещанного тёмного двора не было, но Шурик не обратил на это внимания. Одной рукой он нёс две лёгкие сумки, на другой лежал тяжёлый каракулевый рукав. Поднялись на лифте. Фаина Ивановна открыла дверь,

пропустила вперед Шурика и щёлкнула замком. В её плане было два пункта. Первый – телефонный звонок.

– Ты разденься на минутку, сделай одолжение, – она проворно сняла шубу и, пока он топтался, набрала номер и сунула ему в руку телефонную трубку. – Позови Анатолия Петровича и скажи: Фаина Ивановна просила передать, что два билета на спектакль «Много шума из ничего» ему обеспечены… Понял? «Много шума из ничего»? Обеспечены!

Мужской голос сказал в трубке:

– Слушаю.

– Анатолий Петрович? Фаина Ивановна просила передать, что два билета на спектакль «Много шума из ничего» вам обеспечено.

– Что? – взревел голос.

– Два билета…

Фаина Ивановна лёгким движением указательного пальца придавила рычажок. Отбой. И загадочно улыбнулась.

– А теперь… – это был второй пункт новогодней программы, – теперь я покажу тебе одну маленькую игру…

Взяв его за руку, прочно ухватила за большой палец и, высунув из сложенных трубочкой губ твёрдый язык, лизнула конец пальца.

– Не бойся, тебе понравится…

Львица была с такими особенностями, о которых Шурик, до некоторой степени вооружённый понедельничным опытом, и не догадывался. И никаких ассоциаций у Шурика не возникало: не знал он никаких таких игр. Спустя полчаса, полностью потеряв ориентацию в пространстве и в собственных ощущениях, он переживал обжигающее, отдающее в позвоночник электрическое наслаждение. Над ним нависало нечто невообразимо преувеличенное, ничего общего, кроме

запаха, не имеющее с тем сухим цветочком, к которому он так недавно устремился. Это был невыразимо-притягательный запах женского нутра, и он узнал, что у запаха есть и вкус. Его родной привычный инструмент был совершенно не в его власти, в объятиях влажных и оживлённых – его покусывали, пожевывали, посасывали… Растерянный, он медлил, как отчаянный пловец перед прыжком в неизведанные воды. Его подтолкнули, он дёрнулся назад. Кажется, он не хотел туда. Было почему-то страшно. Раздалось длинное бархатистое рычание… На другом полюсе мира происходило нечто неописуемое, и пусть бы оно не кончалось никогда. Никакого другого пути не оставалось, и он кинулся в самую середину омута… Вкус был обжигающий: одновременно острый и молочно-кислый, нежный и совершенно невинный…

И тут он вдруг догадался, к чему всё это имеет отношение – к затейливой и совершенно неправдоподобной картинке, которую он года четыре тому назад долго рассматривал на стене общественной уборной на углу Пушкинской улицы и Столешникова переулка. А бабушка ещё поджидала наверху, пока он справит свою нужду.

Домой Шурик вернулся утром. Умирая от отвращения, он очень складно соврал, как на обратном пути от Фаины Ивановны таксист, который вёз его, столкнулся с другой машиной, и ему пришлось три часа просидеть в отделении милиции в качестве свидетеля, а позвонить из отделения милиционеры не позволили…

– Ах, да ты бы и не дозвонился, мы всю ночь по моргам и по больницам звонили, – махнула рукой изнемогшая от воображаемой потери Вера.

Поверили ему беспрекословно.

Вера Александровна была вполне удовлетворена обретением исчезнувшего сына. Чуть позже опытная в разного рода уловках Фаина чутко уловила сюжет и подтвердила своё алиби – телефон был сломан.

Совместные слёзы и треволнения новогодней ночи сблизили Веру Александровну с химической отличницей. Она простила Але никчемную внешность и провинциальную речь.

«Сердечная девочка, – решила Вера. – Слава Богу, всё кончилось благополучно».

Мельком взглянула на себя в зеркало – даже в прихожей, где было темновато, отражение было никудышным: опухшие веки… под глазами – тьма… припухлость возле рта, которая так трогала когда-то Александра Сигизмундовича, превратилась в дряблые складки.

– Проводи Алю и возвращайся поскорей домой, – попросила Вера.

Желудок после Фаининого угощения болел, хотелось спать, но ещё больше хотелось посидеть, наконец, с сыном вдвоём, без посторонних, совершенно ненужных людей.

А Шурик снова потащился на улицу Девятьсот пятого года, откуда только что выбрался. Ключ от Алиной комнаты висел на вахте, в решетчатом ящике. Вахтерши не было – это был шанс.

– Поднимемся? – с жалкой игривостью предложила Аля.

– А девочки? – попытался увернуться Шурик.

Аля покраснела: до разоблачения был всего один шаг: она и сама забыла, что наврала вчера о соседках, увёзших ключ от комнаты. Но отказаться от намерения не заставило бы её ни землетрясение, ни наводнение, ни пожар… Она сняла ключ и взяла Шурика под руку. Вырваться он не мог. Они поднялись на третий этаж. Соседки по комнате соотносили свои личные жизни с судьбами африканских студентов института Патриса Лумумбы на их территории, Шурик, под давлением этого обстоятельства, вынужден был сдаться. Сухой казахский цветок раскрылся перед ним на несколько минут, и оба остались вполне довольны: он, что не обманул её ожиданий, она, ошибочно полагая, что одержала великую победу.

Единственной, кого не потребовалось обманывать, была Матильда, которая заснула в новогоднюю ночь в своей постели перед телевизором и только утром вспомнила, что Шурик-то не явился… И потому, когда он двумя днями позже пришёл, слегка смущённый невыполненным обещанием, она только засмеялась:

– Дружочек мой, и говорить об этом нечего!

После Нового года мороз завернул ещё круче. Зима стояла на редкость бесснежная, ветер сметал сухую крупу к стенам и заборам, и повсюду чернели голые проплешины клумб и пустырей. Вера Александровна, любившая зимы за белизну и обманчивую чистоту, страдала от холода и зимней темноты, не смягчённой благодатью снегопадов, сугробов, опушенных деревьев. В эту первую после смерти матери зиму Вера начала как-то особенно длинно болеть: простуды и ангины наезжали одна на другую. Елизавета Ивановна умела договариваться с болезнями, отгоняла их какими-то домашними средствами – молоком с медом, молоком с йодом, тысячелистником и золототысячником. Словом, полезными советами, напечатанными на последней странице журнала «Здоровье». Но теперь, кроме обыкновенных болезней, на Веру напали странные сердцебиения, обильные поты, которые заливали её, как молотобойца в горячем цеху, таинственные приливы и отливы, время которых, казалось, давно для неё прошло. И ещё были всякие маленькие блуждающие боли: то в виске, то в желудке, то в больших пальцах ног… Весь организм её расстроился, капризничал и кричал: мама! мама!

Всесветные знакомства и обширные связи Елизаветы Ивановны были ещё живы, и Шурик, по просьбе матери перебирая отклеившиеся листы бабушкиной большой записной книжки, нашёл на букву А – анализы, Марину Ефимовну, которая оказалась заведующей биохимической лабораторией. О смерти Елизаветы Ивановны она знала от своей дочки, давней бабушкиной студентки, и с Шуриком и Верой Александровной обращалась мало сказать по-родственному а так, что, казалось, они сделали честь лаборатории, выбрав её для производства анализов… Когда они приехали на следующий день в большую, полную света и стекла лабораторию, Марина Ефимовна, маленькая, со старомодным лицом кинозвезды немого кино, долго расспрашивала Веру Александровну о малейших оттенках её самочувствия утром, днём и вечером, заглянула ей под веко, потрогала кончики пальцев. Потом разглядывала на свет пробирку с нацеженной из вены кровью, слегка побалтывала её, как дегустатор вино, и одобрительно кивала головой.

Ещё через несколько дней после взятия крови она позвонила, сообщила, что ничего плохого не обнаружила, но по какому-то показателю верхняя граница нормы, и вообще-то, судя по всему, нужно проконсультироваться в Институте эндокринологии…

И тут же эта Марина Ефимовна начала звонить, устраивать, хлопотать. Она, как и Елизавета Ивановна, была из породы услужливых, всем приятных людей, и сети её были раскинуты широко. Эндокринолог, к которому Марина Ефимовна послала Веру, была из той же породы, и Шурику, сопровождающему мать во всех её медицинских поездках, предстояло ещё много дивиться на многочисленных друзей и друзей друзей покойной бабушки – словно тайное общество или монашеский орден, с полуслова узнающие и помогающие друг другу… Они были «свои» по какому-то неопределимому свойству. Все они имели строку в бабушкиной записной книжке, и располагались эти люди не по алфавиту, а совершенно произвольно: иногда по первой букве профессии – аптекарша, парикмахерша, дачная хозяйка, иногда по начальной букве фамилии или имени, а то и, как в случае машинистки Татьяны Ивановой, по названию улицы, где та жила… Возможно, у Елизаветы Ивановны и был какой-то особый код, которым она руководствовалась при выборе буквы, но Шурик его не открыл… И каждый из этих вписанных бабушкиной рукой людей имел, видимо, свою такую же книжечку и звонил, и не получал отказа, и они составляли целый мир взаимопомогающих людей…

Большая часть телефонных номеров начиналась с букв – довоенная нумерация, смененная в пятидесятых. Шурик звонил по этим устаревшим телефонам и, как правило, находил неведомых, но готовых к услугам людей. Так, некая «Аптечная Леночка», долго охая и натурально всхлипывая, объясняла Шурику, какая необыкновенная женщина была его бабушка, а потом сама привезла им домой все необходимые лекарства, показала Шурику, как правильно заваривать золототысячник, а Вере Александровне подарила янтарные бусы, которые должны были целительно действовать на больную щитовидку…

Впрочем, эндокринолог Брумштейн, которую вызвонила уже по своей книжке лабораторная Марина Ефимовна, была совсем не так приветлива, как прочие алфавитные персонажи. Сухая и почти совсем облысевшая, величаво-важная Брумштейн тем не менее приняла Веру Александровну без очереди, долго всматривалась в бумагу с результатами анализов, слушала сердце, считала пульс, мяла Верочкину шею, осталась очень недовольна и попросила сделать ещё какой-то редкий анализ, который делали только у них в институте.

Перед уходом, когда Вера Александровна уже взялась за ручку двери, хмуро сказала:

– Перешеек уплотнён, доли железы увеличены… особенно слева… Операции вам в любом случае не миновать. Вопрос только в том, насколько это срочно…

Тут Вера проявила неожиданную твёрдость и отказалась. Решила прежде попробовать полечиться у гомеопата. Гомеопатия была не совсем под запретом, но в положении сомнительном – как абстрактное искусство, авангардная музыка или еврейское происхождение. Гомеопата нашли всё в той же бабушкиной записной книжке, поехали на дальнюю окраину Измайлова, разыскали в расползающейся бревенчатой даче хмурого бородатого доктора, сделавшегося старомодно-любезным после упоминания имени Елизаветы Ивановны. Он начертал на четвертушке жёлтой старой бумаги какие-то магические слова и кресты, взял сто рублей денег – чудовищно огромный гонорар! – и поцеловал Вере на прощание руку.

Шурик на другой день привёз матери из специальной аптеки первый набор маленьких белых коробочек. Вскоре у Веры образовалось новое сосредоточенное выражение лица – она рассасывала неровные белые зернышки, чуть-чуть выпятив губы и прикрыв глаза. По всему дому были разбросаны бумажные коробочки – туя, анис, белладонна… Она брала самодельную коробочку в два пальца, слегка громыхала, растряхивала содержимое – горошинки немного слипались, – а потом высыпала на узкую ладонь: раз, два, три… Руки у неё были как с испанских портретов, с заострёнными пальцами, нежными складками на длинных фалангах. И два любимых кольца – с маленьким бриллиантом и с большой жемчужиной…

Мало-помалу Вера заняла то место, которое когда-то принадлежало маленькому Шурику, а Шурик, взрослый, но с жарким детским румянцем во всю щеку, заменил, как мог, Елизавету Ивановну. Шурикова неуклюжая забота оказалась слаще материнской: он был мужчина. Лицом он не был похож на Александра Сигизмундовича, скорее на деда Корна, но волосы были кудрявые, плотные, как у отца, и руки большие, с красивыми ногтями, и ласковость движения, которым он обнимал мать за плечи…

Оказалось, что быть несчастной рядом с Шуриком гораздо увлекательней, чем при матери…

Елизавета Ивановна совсем не умела быть несчастной, может быть, оттого, что её деловая энергия не давала ей времени задуматься о таких абстрактных и непрактичных вещах, как счастье, – но она горячо любила свою дочь и к её

состоянию меланхолической печали и незаслуженной обиды относилась с уважением, считая это проявлением тонкой душевной организации и нереализованности таланта. Александр Сигизмундович тоже всегда страдал оттого, что слишком тонко устроен. Вообще же душевное страдание, по Верочкиным понятиям, было привилегией. И надо отдать должное, даже в самые тяжёлые годы эвакуации, в грязи и холоде зимнего Ташкента она относительно легко переносила бытовые тяготы, отдавая предпочтение переживаниям, связанным с концом её артистической карьеры и потерей – временной, но тогда казалось, что окончательной, – обожаемого Александра Сигизмундовича…

Никто кроме Елизаветы Ивановны не мог оценить, какую жертву принесла Вера, отдавая полжизни мелочной бухгалтерской работе. Вопрос, кому или чему приносится жертва, не поднимался – это подразумевалось само собой. Шурику в своё время с нежным укором об этом напоминала бабушка – для стимуляции любви к Верочке. Теперь, после бабушкиной смерти, Шурик размер этой жертвы ещё более преувеличил. И лёгкий нимб незримо присутствовал над аккуратно сложенным полугреческим пучком стареющих волос.

В вечерние часы Вера всегда находила время, чтобы посидеть в проходной комнате. Угнездившись в обширном кресле, продавленном материнским телом, она открывала ящики письменного стола, перебирала старые письма, разложенные по годам, квитанции по оплате неведомых услуг, бессчётные фотографии, главным образом, её, Верины. Лучшие из них висели над столом в зыбких рамочках, не терпящих прикосновения: Верочка в сценических костюмах. Лучшее, но столь краткое время её жизни…

Когда Шурик заставал её в этой меланхолической позе, он просто тонул от нежного и горького сочувствия: он знал, что помешал великой артистической карьере… Он порывисто обнимал мать за девичьи плечи и шептал:

– Ну, Веруся, ну, мамочка…

И Вера вторила ему:

– Мамочка, мамочка… Мы с тобой одни на свете…

Шурик был убеждён, что бабушка умерла из-за того дикого забвения, которое нашло на него, когда он провожал Лилю в Израиль. Его взрослая жизнь началась от тёмных приступов сердечного страха, будивших среди ночи. Его внутренний враг, раненая совесть, посылала ему время от времени реалистические, невыносимые сны, главным сюжетом которых была его неспособность – или невозможность – помочь матери, которая в нем нуждалась.

Иногда сны эти бывали довольно затейливы и требовали разъяснения. Так, ему приснилась голая Аля Тогусова, лежащая на железной кровати своей общежитейной комнаты, почему-то в остроносых белых ботиночках, которые в прошлом году носила Лиля Ласкина, но только ботиночки эти были сильно изношены, в чёрных поперечных трещинах. Он же стоит у изножия, тоже голый, и он знает, что сейчас ему нужно войти в неё, и что, как только он это сделает, она начнёт превращаться в Лилю, и Аля этого очень хочет, и от него зависит, чтобы превращение произошло в полной точности. Многочисленные свидетели – девочки, которые живут в этой комнате, Стовба среди них, и профессор математики Израйлевич, и Женя Розенцвейг, стоят вокруг кровати, ожидая превращения Али в Лилю. И более того, совершенно определённо известно, что если это произойдёт, то Израйлевич поставит ему зачёт по математике. Всё это совершенно никого не удивляет. Единственное, что странно, – присутствие Матильдиных чёрных кошек на тумбочке рядом с Алиной кроватью… И Аля выжидательно смотрит на него подведёнными японскими глазами, и он готов, вполне готов потрудиться, чтобы выпустить из плохонькой Алиной оболочки чудесную Лилю. Но тут начинает звонить телефон – не в комнате, а где-то рядом, может быть, в коридоре, и он знает, что его вызывают к маме в больницу, и ему нельзя медлить ни секунды, потому что иначе с Верой произойдёт то, что произошло с бабушкой…

Аля шевелит остроносыми ботиночками, зрители, видя его нерешительность, проявляют недовольство, а он понимает, что ему надо немедленно бежать, немедленно бежать, пока телефон не перестал звонить…

Действительность отозвалась на сон – из почтового ящика Шурик вынул письмо от Лили. Из Израиля. Для Шурика – единственное полученное. Для Лили – последнее из нескольких отправленных. Она писала, что он очень помогает ей разобраться с самой собой. Она давно уже догадалась, что письма её не

доходят, и вообще здесь, в Израиле, никто не знает, по каким законам они циркулируют – почему к одним людям письма приходят регулярно, а другие не получают ни одного – но она, Лиля, пишет Шурику письмо за письмом, и это дневник её эмиграции.

«После нашей семейной катастрофы я стала гораздо больше любить их обоих. Отец всё время мне пишет и даже звонит. Мама обижается, что я поддерживаю с ним отношения, – но я не чувствую, чтобы он был передо мной виноватым. И не понимаю, почему я должна проявлять какую-то женскую солидарность. И вообще мне её ужасно жалко, а за него я рада. У него такой счастливый голос. Фигня какая-то. Язык потрясающий. Английский – ужасная скукота по сравнению с ивритом. Я буду потом учить арабский. Обязательно. Я – лучшая ученица в ульпане. Это ужасное уродство жизни, что тебя здесь нет. Это так глупо, что ты не еврей. Арье на меня обижается, говорит, что сплю я с ним, а люблю тебя. И это правда».

Шурик прочитал письмо прямо возле почтового ящика. Оно было как с того света. Уж во всяком случае, оно было адресовано не ему, а другому человеку, который жил в другом веке. И в том же прошлом веке осталась прелесть прогулок по ночному городу, и лекции по литературе – они были слишком хороши, чтобы стать повседневностью. Для этого существовала раздражающая нос химия… В прошлом осталась и всё укрупняющаяся от ухода из времени бабушка, в тени которой не было ни жары, ни холода, а благорастворение воздухов. И здесь, между первым и вторым этажом, около зелёной шеренги почтовых ящиков, его охватило молниеносное и огненное чувство отвращения ко всему: в первую очередь, к себе, потом к институту, к лабораторным столам и коридорам, к провонявшим мочой и хлоркой уборным, ко всем учебным дисциплинам и их преподавателям, к Але с её густыми жирными волосами с кислым запахом, который он вдруг ощутил возле своего носа… Его передернуло, даже испарина выступила по телу – но тут же всё и прошло.

Он сунул письмо в карман и понёсся в институт: у него назревала сессия, и весна назревала, и опять он запустил неорганическую химию, и лабораторные, и ещё не снял дачу, которую бабушка снимала из года в год, отчасти потому, что не нашёл в бабушкиной книжке рабочего телефона дачной хозяйки, отчасти из-за нехватки времени: известно было, что дачи снимают в феврале, а в марте ничего путного уже не снять.

Он бежал в институт, и письмо Лилино было в его душе, как съеденный утром завтрак в желудке – необратимо и в глубине. Два факта, сообщённые Лилей, – о том, что родители её разошлись, и о том, что у неё появился парень по имени Арье, – совершенно не тронули его. Тронуло само письмо – почти физически: вот бумага, на которой её рукой нечто написано, из чего следует, что она есть на свете, а не исчезла бесследно, как бабушка. Ведь до сих пор было такое чувство, что они удалились в одном направлении. И это письмо в кармане – как все мы любим себя обманывать – как будто намекало, что и бабушка может прислать письмо из того места, где она теперь находится.

Шурик не додумал этого до конца, это приятное чувство не оделось такими словами, чтобы можно было другому человеку это объяснить. Но разве мама поймёт это смутное, приятное чувство? Она подумает, что он просто Лил иному письму радуется…

И он, отодвинув всё зыбкое и неконкретное, жил себе дальше, бегал в институт, сдавал какие-то коллоквиумы, ухитрялся немного зарабатывать – французские уроки, оставшиеся от бабушки. Деньги, о которых при бабушке и речи не заводилось, исчезали с невероятной скоростью и заставляли о себе думать. Шурику было совершенно ясно, что заботиться об этом должен он сам, а не слабенькая, совсем прозрачная мать.

«В будущем году наберу побольше новых учеников», – решил он. Ему нравилось учить детей французскому языку гораздо больше, чем самому учиться науке химии. И хотя он кое-как ходил на занятия, делал лабораторные, но всё больше полагался на Алю Тогусову а она старалась, лезла их кожи вон и даже переписывала ему конспекты лекций, которые он часто пропускал.

Аля, залучившая себе Шурика в памятное новогоднее утро, по неопытности принявшая вынужденный жест мужской вежливости за крупную женскую победу, довольно быстро сообразила, что достигнутый ею успех не так уж велик, но эту новогоднюю удачу нельзя пускать на самотёк, а, напротив, чтобы росток рос и развивался, следует много и упорно трудиться. Эта мысль не была для неё новой – она пришла к ней ещё в детстве, когда девочкой она впервые столкнулась с тем, что есть на свете некоторые женщины, которые ходят в туфлях, тогда как большинство, к которому принадлежит и её мать, зимой носят валенки, а летом резиновые сапоги… Словом, жизнь – борьба, и не только за высшее образование. Шурик ей, конечно же, очень нравился, может быть, она была в него даже влюблена, но все эти романтические эмоции и в сравнение не

шли с тем высоким напряжением, которое рождалось из суммы решаемых задач: высшее образование в сочетании с Шуриком и принадлежавшей ему по праву столицей. Аля чувствовала себя одновременно и зверем, выслеживающим свою добычу, и охотником, встретившим редкую дичь, какая попадается раз в жизни, если повезёт…

Напряжение Алиного существования подогревалось ещё одним обстоятельством: Лена Стовба в ту новогоднюю ночь тоже нашла своё счастье – познакомилась с кубинцем Энрике, темнокожим красавцем, студентом университета имени Патриса Лумумбы. Он пригласил её танцевать, и под звуки «Бесаме мучо» целая стая пухлых младенцев – амуров, купидонов и других крылатых – разрядила свою луки в рослую парочку, и вялая от природы Стовба проснулась своим белым телом, встрепенулась навстречу танцующему всеми своими органами кубинцу и весь подготовительный путь, для прохождения которого требуется иногда довольно значительное время, прошла экстренно, начав за час до новогодней полуночи, и в два часа утра первого дня нового года успешно закончив его в крепких темнокожих объятиях.

Хотя двадцатидвухлетний молодой человек был кубинцем и, следовательно, вовсе не новичком в любовной науке, но и он был ошеломлён свалившимся на него белобрысым чудом. Дружба народов полностью восторжествовала – к марту Стовба чувствовала себя определённо беременной, а влюблённый кубинец наводил справки, как оформить брак с русской гражданкой.

Теперь два общежития – на Пресне и в Беляево – были озабочены тем, как обеспечить влюблённым площадку для регулярной реализации чувств, но задача была не из простых: менделеевские церберы, пожилые вахтёрши и злобные комендантши, были вообще несговорчивы, а тут ещё цвет лица Энрике столь заметно отличался от прочих розово-мороженых посетителей, и в одиннадцать часов вечера раздавался громкий стук в дверь и высоконравственная комендантша предлагала посторонним покинуть помещение женского общежития… Лена накидывала каракулевую шубу, бестактный подарок обкомовской мамы, столь странно выглядевший в студенческой бедности, и провожала возлюбленного до станции метро «Краснопресненская», где они расставались, скорбя душами и телами… Охрана лумумбовских общежитий была более лояльна, но требовала предъявления паспорта, что могло повлечь за собой какие угодно, включая милицейские, неприятности.

Аля, подогреваемая ежедневным жаром этого романа, не могла не испытывать беспокойства по поводу умеренного рвения Шурика к полной реализации их тёплых отношений. Тем более что и жилищными условиями он располагал. Однако в дом к себе никогда не приглашал. Ничего похожего на чёрно-белые страсти Лены и Энрике в Алиной жизни не наблюдалось. Обидно. На долю Али по-прежнему доставались только совместные лабораторные работы, обеды в студенческой столовке за одним столом, подготовка к сдаче коллоквиумов и место в аудитории по правую руку от Шурика – обычно она сама его и занимала. Ещё Аля немного удивлялась вялости, с которой Шурик учился, – сама она и в студенческой науке преуспевала, и подрабатывала: сначала было полставки уборщицы, потом к ним прибавилось полставки лаборантских. Работала по вечерам, так что даже в кино сходить времени не было. Да Шурик и не приглашал: он свои вечера проводил обыкновенно с матерью. Аля время от времени напоминала о себе вечерним звонком, однако, чтобы зайти к нему в дом, надо было придумать что-нибудь особое: например, методичку взять или учебник. Один раз позвонила вечером с кафедры, сказала, что кошелёк потеряла: она хотела сама зайти, но он прибежал, принёс ей денег.

Любовные их отношения кое-как теплились: однажды Аля попросила помочь отвезти из института в общежитие трёхлитровую банку ворованной краски. Это было днём, и как раз никого из соседок не было, и Аля обхватила его за шею смуглыми руками, закрыла глаза и приоткрыла рот. Шурик поцеловал её и сделал всё, что полагалось. С удовольствием.

В другой раз Аля пришла к Шурику домой, когда Вера Александровна была на каких-то медицинских процедурах, и ещё раз получила веское доказательство того, что отношения у них с Шуриком любовные, а не чисто товарищеские, комсомольские…

Конечно, она не могла не видеть разницы между своим умеренным романом и страстями, полыхающими между флегматичной в прошлом Леной и её каштановым Энрике. Но и Шурик был всё-таки не негр с Кубы, а белый человек с Новолесной улицы. Аля же подозревала, что хоть Куба и заграница, но немного похожая на Казахстан… Правда, кубинец собирался жениться, а Шурик об этом и не заговаривал. С другой стороны, Стовба-то была беременна… Но ведь и Аля тоже могла бы… И тут она терялась: что важнее – учёба или замужество?

В начале апреля Стовба сообщила, что они подали во Дворец бракосочетаний заявление на регистрацию.

Девчонки были в восторге: прежде они опасались, не бросит ли Энрике Стовбу уговаривали её сделать аборт, но она только таращила свои глаза и мотала белыми волосами. Она ему доверилась. Так доверилась, что даже собралась своим домашним письмо писать о предстоящем замужестве. Беспокоило девочек-подружек только одно – что ребёнок будет чёрный. Но Стовба их утешала: мать у Энрике почти совсем белая, старший брат, от другого мужа, американского поляка, вообще блондин, только отец чёрный. Зато чёрный отец – близкий друг Фиделя Кастро, воевал с ним в одном отряде… Так что ребёнок вполне может родиться и белым, поскольку он будет почти квартерон. Девчонки головами качали, но в душе жалели: лучше б русский… Хотя самого Энрике все полюбили: он был весёлым и добрым малым, несмотря на то, что, как и Стовба, тоже принадлежал к семье из партийной верхушки. Но он не важничал, как его возлюбленная, – ходил, приплясывая, плясал, подпевая, и вечно сонная Стовба, которую на курсе чуть ли не с первого дня все невзлюбили, перестала важничать, жадничать и, благодаря своему сомнительному – с точки зрения расовой – роману, стала всем приятней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/lyudmila-ulickaya/iskrenne-vash-shurik

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить